# ИМПЕРИЯ

Том 1. Сталинград. Курск



ИВАН ИВАНОВ

Военно-историческая фантастика

Иван Иванов

# Империя. Том 1: Сталинград. Курск

«Автор»
2026

**Иванов И.**

Империя. Том 1: Сталинград. Курск / И. Иванов — «Автор», 2026

1942 год. Немецкие танки на Волге, страна держится последними силами. В Сибири геологическая партия под руководством аспиранта Ивана Кузнецова находит нефть под базальтовым панцирём — и кристалл, брошенный в эту землю до начала человеческой истории. Одно прикосновение — и Кузнецов больше не обычный человек: его мозг работает целиком, он считает войну, как считают породы, и понимает, что инструмент, не использованный вовремя, хуже инструмента, которого нет.Под легендой фокусника Мессинга он проходит к самому Сталину и выходит в Сталинград — не с автоматом, а с блокнотом. Чужие сроки наступлений, чужие потери, чужие котлы — всё ложится в его таблицы. Немцы не знают, что существует человек, который читает их логистику, как открытую книгу.Но у расчёта есть цена, и Иван платит её собственным блокнотом, куда записывает тех, кого посчитал и не успел спасти.«Империя» — десятитомная сага о человеке, который начал с одного расчёта и закончил созданием мира. Том первый. Война только началась.

© Иванов И., 2026
© Автор, 2026

# Содержание

ПРОЛОГ 6
Из постановления Наркомата нефтяной промышленности, март 1941 9
ГЛАВА 1 10
Из предписания управления геологоразведки № 4471 от 22 сентября 1942 г. 23
ГЛАВА 2 24
Из сводки Советского информбюро за 20 октября 1942 года 37
ГЛАВА 3 38
Конец ознакомительного фрагмента. 48

# ИМПЕРИЯ. Том 1: Сталинград. Курск

# ПРОЛОГ

**Сибирь. Сотни тысяч лет назад.**

Здесь не было снега. Мир тонул в густом, первобытном зелёном свете. Воздух висел тяжёлый, влажный, пропахший прелой листвой, мокрой землёй и дикими цветами, чей запах сбивал с толку даже зверя. Папоротники поднимались в человеческий рост, вековые кедры сплетались кронами так плотно, что солнце пробивалось к земле лишь редкими монетами света. Это была эпоха, когда Земля ещё не знала человека, но уже внутренне содрогалась, готовясь его принять.

Люси двигалась по нижнему ярусу этого леса. Она была приматом, существом, застывшим на самом краю великой границы. Тело её покрывала густая бурая шерсть, руки свисали ниже колен и были длиннее ног, и передвигалась она, сутулясь и опираясь на костяшки пальцев, — походка неуверенная, рваная, будто она всё время примеривалась к чему-то, чего ещё не умела.

Но в её тёмных, глубоко посаженных глазах теплилось то, чего не было у остальных. Не разум ещё — нет. Скорее тень разума, отблеск, который другие самки и самцы её стаи не замечали, а она — замечала. Люси смотрела на мир чуть дольше, чем следовало. Запоминала, где были плоды в прошлый раз, и возвращалась туда, когда голод прижимал стаю к земле. Замечала, куда уходит вода после дождя, и шла по её следу. Сородичи толкали её, рычали, гнали прочь — она была из низших, с краю, всегда ела последней. Но она выживала. И в этом выживании, в этой упрямой памяти, уже зрело зерно.

В тот день стая кормилась у подножия базальтового хребта. Люси отбилась в сторону за клубнем, который заприметила ещё утром, — полезла в крутую, скользкую осыпь, цепляясь пальцами за корни, и сорвалась вниз, в узкую щель между камнями. Удар. Темнота. Запах пыли и мокрого камня.

Она лежала, оглушённая, и вдруг увидела свет.

Не солнце. Не молния. Не отражение. Свет шёл изнутри скалы, из глубокой расщелины, скрытой за занавесью свисающих корней. Мягкий, пульсирующий, ровный, как дыхание спящего зверя. Он не грел. Он был холодным на вид и всё же живым, и от него веяло чем-то чуждым этому миру, чем-то, чего Люси не умела назвать, но что заставило её шерсть на загривке встать дыбом.

Люси поползла на свет.

В глубине грота, на природном каменном уступе, будто нарочно высеченном для этого дня, лежал кристалл. Небольшой, с её собственный кулак, неправильной формы, полупрозрачный, будто застывшая капля молока, в которой кто-то развёл огонь. Внутри него шевелились сполохи — медленно, ритмично, вспыхивая и гася, вспыхивая и гася. Это было семя. Семя, брошенное в эту землю в начале начал, чтобы ждать своего часа.

Люси сидела перед ним долго. Впервые в жизни она не потянулась за пищей и не оглянулась на стаю. Она смотрела. И в этом смотрении было уже нечто, чего не бывало ни у одного живого существа до неё, — внимание, направленное не на выживание, а на понимание.

Она протянула руку. Пальцы, грубые, в мозолях и ссадинах, коснулись гладкой, чуть тёплой поверхности.

Мир не взорвался. Мир раскрылся.

Не было боли. Было мгновенное, ослепляющее расширение, будто внутри черепа разом зажглись тысячи крошечных солнц. За долю секунды в её сознании вспыхнули и сплелись миллионы нитей. Она вдруг поняла, что такое «я». Что есть она — отдельная, отделённая от коры, от ветра, от собственного живота. Что дерево стоит, а она ходит. Что если отпустить

камень из пальцев, он упадёт вниз, и всегда вниз, и это можно знать заранее. Что вчера было, а завтра будет, и между ними — длинная нить, на которую можно нанизывать дни.

Сознание. Первый, чистый, ничем не замутнённый проблеск настоящего сознания в истории этой планеты.

Люси отдёрнула руку и отшатнулась, прижавшись спиной к холодной стене грота. Она смотрела на свои пальцы так, будто видела их впервые. Теперь это были не лапы для хватания веток. Это были руки. Инструмент. Продолжение воли.

Она медленно, с хрустом в суставах, выпрямилась. Позвоночник, привыкший к сутулости, сопротивлялся, но она заставила его и встала в полный рост, покачнулась, непривычно высоко глядя на мир. И издала звук. Не визг испуганного зверя, не рык голодного, — сложный гортанный звук, в котором уже жили зачатки слова. Она позвала своих.

Из чащи, настороженно озираясь, вышли сёстры. Другие самки её стаи, те самые, что всегда делили с Люси последний кусок и страх перед самцами. Они подошли к расщелине, заглянули внутрь, увидели свет — и замерли.

Люси не стала отгонять их. Она поняла это сразу, новым, острым умом: одна она в этом осмысленном мире не выживет. Разум без племени — это просто медленная смерть в одиночестве.

Она взяла за руку ближайшую сестру, ту, что была ей ближе всех, и прижала её ладонь к кристаллу. Свет вспыхнул ярче, на миг озарив грот белым. Сестра вздрогнула, выгнулась, её глаза расширились, став круглыми и пустыми на мгновение, — а потом в них запрыгнул тот самый огонёк. Искра передалась.

Люси подвела вторую. Третью. Четвёртую. Каждая касалась камня, каждая вздрагивала и выпрямлялась, каждая смотрела потом на остальных — и в этом взгляде было узнавание, то, чего не бывает у зверей. Пять самок стояли в гроте, пять первородных матерей, и молчали по-новому, потому что молчание их теперь было наполнено.

Но эволюция не бывает милосердной ко всем, и щедрость её избирательна.

В грот ворвались самцы. Они услышали незнакомые звуки, почуяли в воздухе странный металлический запах и увидели, что самки стоят иначе — прямо, спокойно, глядя им в глаза, а не в пол. Это их взбесило. Крупные, мускулистые, с буграми мышц под грубой шерстью, они рычали, били себя кулаками в грудь, требуя пищи, требуя спаривания, требуя, чтобы всё стало по-старому. Они подошли к кристаллу и тоже ударили по нему лапами, пытаясь сорвать, утащить, разобраться с тем, что пугало.

Но ничего не произошло.

Минерал отдал всё, чем мог поделиться с этим миром сразу. Пять восприимчивых сосудов — пять искр — и внешнее свечение угасло окончательно. Камень стал серым, тусклым, обычным. Самцы били по мёртвой оболочке и не получали ничего. Их мозг, всю жизнь заточенный под агрессию, доминирование и голый инстинкт, был слишком неподатливой глиной: даже если бы свет ещё горел, сложные связи, нужные для пробуждения сознания, просто сгорели бы в их примитивной нервной системе, не оставив следа. Самцы были обречены остаться животными. И они остались.

Люси смотрела на своего самца — того, что вожделел её и бил других, — и видела его насквозь. Голод. Похоть. Страх перед неизвестным, замаскированный под ярость. Ни капли того огня, что теперь жил в ней. Она почувствовала холодное, отстранённое презрение, смешанное с жалостью, какой не способен чувствовать зверь.

Но у неё была цель. И у неё было будущее, спрятанное в её ещё плоском животе, где уже тихо росла новая жизнь. Минерал изменил её до самой сути, перестроил тончайшую ткань тела так, чтобы это перешло к потомству. И это должно было случиться.

А в самой глубине камня, туда, куда не доставал ни звериный глаз, ни самцовая лапа, сжалась и уснула иная сила. Не искра — зерно пламени. Слишком тяжёлое для этих грубых

мозгов, слишком раннее для этой эпохи. Оно не умерло. Оно уснуло, свернувшись в тёмной сердцевине, чтобы однажды проснуться для сосуда, который сможет выдержать не вспышку разума, а целый пожар. Камень стал серым и холодным снаружи, но внутри него спало семя чужой вселенной, терпеливо дожидаясь своего времени.

Прошли годы. Племя изменилось, хотя самцы так и не поняли, что именно. Самки стали хитрее. Они незаметно направляли самцов, как пастухи гонят стадо, — подталкивали к нужной тропе, отгоняли от опасной, и те верили, что идут по своей воле. Самки придумывали засады на дичь, которые самцы потом принимали за собственную удачу. Они научились беречь тлеющий уголёк после грозового пожара, подкидывать сухой мох, укрывать от ветра — и самцы считали это просто тёплым местом, где приятно спать. Самки правили из тени, пряча разум за старой, привычной для самцов маской покорности, потому что открытая сила была бы раздавлена открытой грубостью.

А потом родились дети.

Дети Люси и её сестёр. Отцы дали им только тело — широкие плечи, быстрые ноги, зубы для мяса. Но матери передали им искру, и искра эта, соединившись с крепкой плотью, дала то, чего не было ни у кого до них.

Первенец Люси открыл глаза, и в них был разум. Не тень, не отблеск — полноценное, ясное восприятие. Он не хватал предметы наугад, он изучал их, переворачивал, пробовал на вес. Он не кричал от страха, он складывал звуки в короткие, чёткие сигналы и называл вещи, указывая на них пальцем. Он смотрел на огонь в пещере и не боялся — он тянулся к нему с пониманием, что тот греет, жжёт и что его можно удержать, если знать как.

Самцы пришли в ярость. Они пытались доминировать над детьми, рычали, били, как били прежде, — но дети не съеживались. Дети были умнее. Они переглядывались, договаривались одним взглядом, действовали слаженно, как стая волков, а не как стадо обезьян. Они обточили первые камни, насадили их на палки и получили копья — не палки для тычков, а оружие с наконечником, которое бьёт дальше и вернее, чем рука. Самому агрессивному самцу они не дали ни шанса: загнали в узкий овраг, где тот не мог развернуться, и держали на конце копий, пока тот не лёг на землю, признав новую волю. Не грубой силой одолели их дети — одолели хитростью, порядком и пониманием слабости противника, которого сами же и породили.

Так начался род человеческий. Не в долгих, слепых муках случайной эволюции, а в тихой, холодной революции, совершённой пятью матерями у погасшего камня и доведённой до конца их детьми.

Люси умерла старой. Её тело вернулось в землю, кормя корни кедров, но её разум, её искра жили дальше — в тысячах, в миллионах, в миллиардах потомков, которые шли всё прямее, говорили всё отчётливее, строили всё выше. Они возводили города, изобретали колесо, писали законы на камне и глине, поднимались к звёздам — и по дороге забыли своих матерей, растворив их в тумане мифов, в легендах о богинях-прародительницах, чьи имена стёрлись до неузнаваемости.

А серый камень остался в расщелине базальтового хребта. Он больше не светился. Но в его мёртвой сердцевине всё ещё спало зерно пламени, дожидаясь того далёкого дня, когда плоть потомков первых матерей окрепнет настолько, чтобы принять в себя не искру, а целый пожар.

# Из постановления Наркомата нефтяной промышленности, март 1941

Из постановления Наркомата нефтяной промышленности о состоянии геологоразведочных работ в районах траппового магматизма, утверждённого в марте 1941 года:

«Поиски нефтяных залежей под базальтовыми покровами Сибирской платформы признать в настоящее время бесперспективными вследствие недостаточной изученности методики сейсмического зондирования
в условиях экранирующих толщ.

Работы по указанному направлению сократить. Освободившиеся средства и кадры направить на разведку утверждённых площадей.

Отдельным товарищам, продолжающим настаивать на постановке работ в трапповых зонах, указать на недопустимость распыления ресурсов в военное время.»

Ниже, от руки, чернилами, чужой почерк:
«Возвращено инициатору. Повторно не подавать.»

# ГЛАВА 1

**1 сентября 1942 года. Сибирь.**

Тайга стояла наглухо, как стена, и за три недели работы партия из пяти человек успела забыть, что бывает иначе. Ель, пихта, кедр, ниже — багульник и мох, который держал воду, будто губка, и топил сапоги по голенище. Воздух был тяжёлый, кислый от хвои и прели, и даже в сентябре в нём висела комариная туча, от которой не спасал ни дым, ни ветошь, намоченная керосином.

Иван Кузнецов шёл впереди и матерился. Тихо, под нос, но искренне, так, как матерятся люди, которые устали не телом, а головой. Рюкзак с журналами сейсмических замеров и разобранным гальванометром резал плечо, фляга болталась на боку, и до лагеря оставалось километров девять, если идти напрямую, через этот проклятый увал, который партия по наивности приняла за простой перегиб хребта.

Три недели назад они шли сюда через деревню.

Деревня называлась Криволуг и стояла на низком берегу, там, где кончался сплавной ручей и начиналась таёжная вода. Двенадцать дворов, из них жилых семь. Иван запомнил не избы — он запомнил лес на берегу. Свежий, распиленный по чуркам, сложенный в штабеля по три поленницы, и у штабелей бабы. Одна баба в мужском ватнике, вторая с девочкой лет двенадцати, третья старая, совсем сухая, и все трое поднимали и клали чурки одинаково, потому что больше некому было поднимать.

Здоровых мужиков в Криволуге не было. Ни одного. Иван тогда спросил у старостихи, где люди, и она ответила спокойно, как отвечают про погоду: девятнадцать ушли в сорок первом, четверо вернулись без чего-нибудь, остальные письма пишут. Потом добавила, что лес пилят для школы, потому что школу топить надо, а мужик, который раньше пилил, ушёл в сорок первом и не вернулся совсем.

Иван тогда постоял, посмотрел на штабеля и попробовал прикинуть, сколько бабьих рук нужно, чтобы запасти дров на зиму для школы на сорок детей. Не пошло. Он был обычный аспирант, который умел считать пласты и не умел считать людей, и цифра не шла, и он пошёл дальше, потому что партия ждала.

Теперь он вспоминал эти штабеля три недели подряд, каждую ночь, и не понимал, почему именно их.

Ночью он просыпался дважды, и оба раза от одного сна.

Во сне он стоял в тёплом месте. Не у печки — тепло шло не снаружи, а изнутри, из земли под ногами, и в этом тепле был свет, ровный, пульсирующий, и он не видел источника, но знал, что источник рядом и что он ждёт. Не человека — во сне он не думал про человека. Он ждал вообще. Как ждёт закрытая дверь, за которой кто-то есть.

В первый раз Иван проснулся и решил, что это от комаров: сонный бред, когда тело чешется, а голова не спит. Во второй раз, перед рассветом, сон был тот же, до мелочей, и он тогда сел на подстилке и постоял босиком на холодной земле, чтобы согнать.

Он не рассказал никому. Он не знал, что рассказывать.

— Товарищ Кузнецов, — догнал его Петров, молодой, весь в поту и репьях, с приборной сумкой через плечо, которая ему явно была не по силам. — Может, передохнём? А то вы как заводной. Я, честно, уже язык проглотил.

Иван остановился. Обернулся. Посмотрел на Петрова — не зло, устало.

— Петров, ты понимаешь, зачем мы здесь?

— Ну... образцы берём, замеры.

— Мы тестируем новый метод оценки пластов. Если он сработает — залежи, которые сейчас считают пустыми, станут видимыми. Понимаешь? Видимыми. Фронту нужно горючее. Самолётам, танкам, машинам с ранеными. Каждая скважина, пробуренная вслепую впустую, — это месяц чьей-то жизни на фронте. Вот зачем.

Петров притих, виновато сглотнул.

Иван вздохнул и смягчился. Он не хотел давить — просто за три недели у него внутри накопилось столько тревоги, что любое слово резало, как наждак. По радио в лагере вчера передали сводку: где-то на западе, за тысячу вёрст от этой зелёной глуши, шли бои на подступах к городу на Волге. Сталинград. Имя было знакомо каждому школьнику и каждому рабочему тракторного завода, но до сих пор оно оставалось для Ивана абстракцией — картой в учебнике, строчкой в газете. А в конце августа по тому же радио сказали, что немцы бомбили город и что там горят нефтебаки, и Иван тогда не придал значения: мало ли что горит. Теперь из динамика лился голос диктора, сухой и ровный, перечисляющий номера частей, которые «ведут упорные оборонительные бои», и Иван вдруг представил себе эти части. Живых людей. Таких же, как Петров. Как его брат. Город держали. Пока держали. Но слово «упорные» звучало в этой тишине тайги слишком громко, слишком тревожно. Оно сидело в затылке, как заноза.

— Ладно, — сказал он. — Привал десять минут. Потом идём.

Они сели на поваленный кедр, обвешанный лишайником, как седой старик.

Партия была маленькая и разношёрстная, как все партии в сорок втором, когда штатные экспедиции развалились, а работу надо было делать. Кроме Ивана и Петрова, в ней числились трое.

Степан Кузьмич Рябов, коллектор, шестьдесят два года, из тех людей, которые тридцать лет ходят по тайге и знают её лучше, чем квартиру. Он умел по мху сказать, где под ногами вода, а по коре — где зимой стоял морозный ветер. Он не спорил с приборами, он просто говорил: тут не надо, и обычно оказывался прав.

Григорий Лапшин, техник-оператор, тридцать лет, до войны — радиолюбитель и мастер на все руки. Он собрал приёмник из трофейных деталей ещё в тридцать девятом, и именно поэтому в лагере было радио, а не только тишина. Он спал с паяльником под подушкой, потому что паяльник был один, а желающих много.

И Николай Тарагай, проводник, старожил этих мест, сорок с чем-то лет, который говорил по-русски правильно и медленно, будто переводил с языка, на котором думал. Он не понимал, зачем искать нефть под камнем, но понимал, зачем искать что-то, и это было единственное, что имело для него значение.

Иван достал флягу, глотнул тёплой воды, отдающей железом. Потом машинально вынул из кармана компас — и замер.

Стрелка дёргалась. Не указывала на север, а ходила ходуном, будто компас лежал не в руке, а на крыше работающего паровоза.

— Странно, — пробормотал Иван.

— Что странно? — насторожился Петров, уже привыкший, что все странности в этой партии начинаются со слов «странно» и кончаются головной болью.

— Компас. Смотри.

Петров наклонился, прищурился. Стрелка крутилась, замирала, снова срывалась.

— Магнитная аномалия? — предположил он. — Тут же базальты, хребет трапповый, неудивительно.

— Неудивительно, — согласился Иван. — Но чтобы настолько — нет. Раньше такого не было. Мы три недели ходили по краю массива, и нигде стрелка так не бесилась.

Он встал. Осмотрелся. Тайга как тайга, ничего особенного, но кожа на предплечьях вдруг покрылась мелкими мурашками, а в висках застучало, будто воздух вокруг наэлектризовали.

Иван почувствовал это всем телом — не страхом, а чем-то другим, похожим на то, как собака чует грозу за час до грома.

— Пойдём, — сказал он. — Источник рядом. Нужно посмотреть.

Он свернул с тропы не потому, что решил.

Он потом вспоминал это много раз и каждый раз находил одно и то же: ноги пошли раньше, чем он подумал. Он шёл по краю массива, и его потянуло вбок, к скальному выходу, ровно и тупо, как тянет стрелку, и он не сопротивлялся, потому что не заметил, что это не он идёт.

Он заметил уже у камня.

Через полчаса они вышли к скальному выходу — мокрой от мха глыбе базальта, в основании которой зияла узкая расщелина, затянутая сплетением сухих корней. От неё тянуло странным теплом, не солнечным и не костровым, а ровным, глубинным, как от печной трубы.

Иван присел на корточки, развернул журнал сейсмических профилей, который они вели последние дни. Линии отражений обрывались хаотично, будто сигнал уходил в пустоту. Обычный специалист списал бы это на помехи или ошибку оборудования. Иван нахмурился: помехи были слишком правильные. Но что это значило, он понять не мог.

— Петров, дай лом.

— Иван, ты чего, туда лезть собрался? — Петров побледнел. — Там же неизвестно что. Может, обвалится, может, газы. Мы не знаем.

— Знаю, что приборы врут, а компас сошёл с ума, — сказал Иван. — И что за камнем тепло. Больше я ничего не знаю. Дай лом.

Петров помолчал, потом молча сунул ему лом в руки и отступил на шаг, чтобы не мешать.

Иван просунул лом в расщелину, задел что-то твёрдое за мокрым камнем. Послышался гулкий звон. Он поработал минут десять, расширяя вход, пока не смог протиснуться внутрь по плечи.

В гроте, на природном каменном уступе, лежал кристалл.

Небольшой, с кулак, неправильной формы, полупрозрачный, будто застывшая капля молока, в которой кто-то спрятал уголёк. Снаружи он казался серым, мёртвым, обычным камнем — таким, каких в тайге тысячи. Но внутри, в самой глубине, что-то медленно, тяжело ворочалось и светилось.

Иван смотрел на него и не мог отвести глаз. Что-то внутри него, в самой основе, узнавало этот свет. Не разумом — он ещё не понимал, что видит, — а чем-то более древним, тем, что было в нём с рождения и о чём он никогда не задумывался.

Он протянул руку.

— Иван, не надо! — очнулся Петров у входа. — Что-то здесь не так, я нутром чую!

Но пальцы Ивана уже коснулись гладкой, чуть тёплой поверхности.

И мир не раскрылся, как раскрывают книгу. Мир вспыхнул.

Это было не похоже ни на что, что Иван когда-либо испытывал. Не боль — болью это назвать было нельзя, боль слишком маленькое слово. Будто внутри черепа разом включили все лампы, которые в обычном человеке горят по одной, и ток пошёл такой силы, что провода не выдержали. На миг Иван перестал быть человеком и стал чем-то огромным, прозрачным, всевидящим — и тут же, в следующую долю секунды, эта огромность начала его жечь изнутри.

Жар. Невыносимый, собственный жар, поднимающийся из груди, из головы, из кончиков пальцев, вцепившихся в камень. Кожа на лбу натянулась, воздух вокруг лица поплыл, как над раскалённой плитой. Иван заорал — не от страха, потому что тело требовало холода, иначе оно просто сгорит.

Он вырвал руку, отшатнулся, споткнулся о порог грота и рухнул лицом в холодный ручей, сочившийся по камням у входа. Ледяная вода ударила в разгорячённое лицо, в шею, в грудь — и только тогда жар отступил, оставив после себя звон в ушах и вкус меди во рту.

Иван лежал в ручье, дрожа, и смотрел в небо сквозь мокрые ресницы. Камень в гроте за его спиной погас. Совсем. Стал обычным, мёртвым, серым.

— Иван! Иван, ты жив?! — Петров стоял на коленях в воде, тряс его за плечо, бледный как полотно. — Говори! Я думал, всё, поминай как звали!

— Жив, — хрипло сказал Иван. Сел. Потрогал лицо — вроде целое, только горячее, будто после бани. — Что было?

— Ты коснулся этого... — Петров кивнул за спину, на грот, и голос у него сел. — И заорал. И задымился, ей-богу, дым от тебя шёл. Я чуть в обморок не упал.

Иван посмотрел на грот. Серый камень. Ничего.

— Пошли в лагерь, — сказал он. Встал, выжал рубаху. — Нужно докладывать.

— А образец? Может, отколоть? — Петров уже потянулся к лому.

Иван посмотрел на него. Не пристально — просто посмотрел, и сам не понял, что сделал: голос вышел ниже обычного, дыхание выровнялось, и в этом спокойствии было что-то такое, от чего у Петрова внутри всё обмякло, как у собаки перед хозяином.

— Не надо, — сказал Иван. Тихо. Даже ласково. — Он исчерпан. Пустой.

И Петров, сам не помня как, опустил лом и отступил, будто его отпустили с повинной.

Они молча пошли обратно. Петров косился на Ивана каждые пять шагов — тот шёл быстро, ровно, будто ничего не случилось, только глаза были не его, слишком спокойные, слишком внимательные, будто он смотрел не на тропу, а сквозь неё.

А Иван действительно смотрел сквозь.

Мир стал другим. Не лучше, не страшнее — другим, как становятся другими вещи, которые ты всю жизнь видел одним боком, а потом вдруг повернул.

Это приходило не сразу и не вместе. Он заметил потом, вспоминая тот переход, что странности шли по очереди, как всходят посевы.

Первым был слух. Он услышал белку — не шорох, а именно белку, которая перекатывала шишку в тридцати шагах за деревьями, и он услышал, как чешуйки шишки скребут друг о друга. Он остановился и сказал себе, что это невозможно, что человек не слышит такое, что ему послышалось. Потом белка вышла на ветку, и он увидел её ровно там, где слышал, и шишка лежала у неё в лапах, надкусанная.

Вторым было зрение. Он посмотрел под ноги и увидел мох — не зелёную подушку, а слои: живой верх, мокрая середина, спрессованный низ, а под ним глина с песчаной прослойкой, а под глиной вода. Он не догадывался об этом. Он это видел, как видят разрез на плакате, только разрез был под его собственными сапогами.

Третьим был счёт, и он был хуже всего.

Он шёл, и цифры в голове складывались сами. Он посмотрел на склон и получил угол падения пласта, объём породы над ним, поправку за плотность. Он посмотрел на ручей и получил расход воды в секунду. Он посмотрел на Петрова и получил его вес, походку, усталость по наклону плеча и то, что через двести метров Петров сядет, потому что у него натёрта левая пятка.

Через двести метров Петров сел.

Иван остановился и постоял, глядя на него, и впервые за этот день ему стало по-настоящему страшно. Не от того, что он видел. От того, что он не мог это выключить. Он попробовал не считать — и не смог, как нельзя не слышать, если уши открыты. Он попробовал закрыть глаза — и счёт продолжился, потому что считали не глаза.

И ещё одно, о чём он не сказал никому и не записал ни в один журнал.

Иногда, когда он поворачивался лицом к северу, его тянуло. Не в ноги — в грудь, под ложечку, коротко, как тянет на краю высоты. Он поворачивался обратно, и отпускало.

Он гнал это. Он сказал себе, что это от жара, что тело ещё не остыло, что пройдёт. Оно не прошло, но он научился не поворачиваться.

Чувствовал под ногами не просто мох, а структуру грунта — где глина, где песок, где глубоко внизу, под базальтовым панцирем, лежит то, что они три недели не могли нащупать приборами.

И думал.

Быстро. Слишком быстро для того, чтобы успевать за собой. Мысли не шли вереницей, как раньше, а вырастали деревом, разветвляясь на десятки живых сучьев одновременно. Он мог в одну секунду вспомнить формулу электроразведки, прикинуть погрешность вчерашних замеров, понять, почему Петров вчера соврал про карточки, и тут же, параллельно, видеть в голове срез недр под этим увалом — слой за слоем, как на учебном плакате, только живой, объёмный, настоящий.

Он остановился посреди тропы. Закрыл глаза.

— Петров. Дай журналы замеров. Все. За три недели.

— Зачем? Мы же в лагере разберём...

— Дай. Сейчас.

Петров, привыкший за три недели, что спорить с Кузнецовым всё равно что плевать против ветра, молча раскрыл сумку и протянул пачку тетрадей.

Иван сел прямо на мокрый мох, разложил листы перед собой и начал смотреть.

Обычный человек читал бы эти журналы неделю, сводил цифры, строил графики, ругался с погрешностями. Иван смотрел — и цифры складывались в картину сами, без усилий, как кусочки мозаики встают на место, если их встряхнуть. Сейсмические волны, которые три недели сбивали партию с толку, маскируя реальную структуру под фоновый шум, вдруг перестали быть шумом. Они стали контуром. Сквозь этот контур, сквозь толщу траппов, Иван увидел то, чего не видели приборы: линзу песчаника в осадочном чехле под хребтом, закрытую сверху непроницаемым панцирем, — и в этой линзе, прижатую к своду, тёмную, тяжёлую полосу нефти. Ловушку. Настоящую, промышленную, ту самую, которую здесь искали четыре года и не могли найти именно потому, что базальты рассеивали сейсмический сигнал, создавая иллюзию однородности породы.

Он открыл глаза. Руки не дрожали.

— Петров, — сказал он спокойно. — Мы нашли.

— Кого нашли?

— Нефть. Вот здесь. — Он ткнул пальцем в точку на карте, километрах в трёх от их стоянки, там, где по всем прежним расчётам должна была быть пустая порода. — Глубина четыреста восемьдесят метров, пласт песчаника, под базальтовым экраном. Приборы его не брали, потому что экран глушит сигнал. А я взял.

Петров смотрел на него, как на сумасшедшего. Потом перевёл взгляд на карту, на журнал, снова на Ивана.

— Товарищ Кузнецов, — медленно сказал он. — Вы сейчас... вы это правда посчитали? По этим цифрам? За пять минут?

— Да.

— Это невозможно.

— Очевидно, что нет, — сказал Иван и встал, отряхивая мох со штанов. — В лагере свяжусь с институтом. Пусть шлют буровую. Если я прав — это новая нефтяная площадь, глубже и севернее, чем все думали. Если не прав — пишите рапорт, что я перегрелся в том гроте и сошёл с ума.

Он говорил ровно, буднично, но внутри у него, под этим ровным дном, уже бился другой, холодный расчёт: если метод сработает, его вызовут в Москву. А Москва — это не тайга. Москва — это те, кто решает, куда идти фронту и кому давать горючее. И там, в Москве, у него вдруг появилась мысль, от которой он сам ещё не знал, что с ней делать.

В лагерь они пришли в темноте.

Рябов сидел у печки-времянки, сложенной из камней и половины ведра, и грел руки над жестянкой с крупой. Лапшин возился с приёмником, ловил позывные сквозь треск. Тарагай курил у входа, глядя в темноту, где ничего не было видно, но где он, кажется, видел всё.

— Нашёл? — спросил Рябов, не поднимая головы. Он всегда спрашивал так, будто ответ был ему известен и он просто проверял, соврёт ли человек.

— Нашёл, — сказал Иван.

— Нефть?

— Нефть.

Рябов помолчал. Потом отставил жестянку.

— Я тут тридцать лет хожу, — сказал он. — Мне в тридцать восьмом один профессор говорил, что под траппами ничего нет и быть не может. Я ему верил, потому что он профессор. А ты мне скажи: он врал или ошибался?

— Ошибался, — сказал Иван. — Он смотрел на сигнал, а сигнал не проходил. Он думал, что смотрит в землю, а смотрел в стену.

Рябов кивнул медленно, будто это подтверждало что-то, что он давно подозревал, но не решался сказать вслух.

— Стена, — повторил он. — Ну да. Стена.

Ночью в палатке Иван не спал.

Он лёг, закрыл глаза, приказал себе отключиться, как приказывали ему двадцать пять лет жизни, — и ничего не вышло. Мозг не гас целиком. Он горел ровно, ярко, равномерно, как лампа, которой не дали выключателя. Иван лежал и слушал, как храпит Петров в углу, как за стенкой палатки шуршит мышь, как где-то далеко, за хребтом, стонет ветер, и каждое слово, каждый шорох раскладывался у него в голове на составляющие без спроса.

Он попробовал считать овец. Он досчитал до четырёх и понял, что уже получил их вес, шерсть, скорость роста и то, сколько овец нужно, чтобы обеспечить партию мясом на месяц, и что расчёт верен, и что он не спит.

Он попробовал вспоминать детство, чтобы устать от воспоминаний. Получилось наоборот.

Он вспомнил август.

Их было двенадцать. Пять сестёр, шесть братьев и он, средний, тот, на кого вечно сваливали и старших успокаивать, и младших поднимать. Отец умер в тридцать шестом, и мать осталась с двенадцатью и с половиной ставки уборщицы в школе, и как-то она их всех вырастила, и Иван до сих пор не понимал, как это арифметически возможно.

Стол у них был сколочен отцом ещё до революции, из двух сосновых досок, и он был такой длины, что мать ставила на него двенадцать тарелок в один ряд, и всё равно оставалось места для локтей. Иван помнил этот стол лучше, чем лица некоторых братьев. Он помнил, как в сорок первом на нём лежала бумага из военкомата, и мать сидела перед ней и не плакала, а смотрела, и старший брат стоял у двери и не садился, потому что если сядет, то не встанет.

Брат ушёл в июле. К декабрю перестали приходить письма. Похоронки не было — и это было хуже похоронки, потому что похоронка это конец, а её отсутствие это каждый день заново.

В августе мать отправили с младшими в Казахстан. Эвакуация. Иван провожал их на Ярославском, и он помнил всё до мелочей: узел с чайником, который мать не хотела отдавать в общий котёл, потому что чайник был отцовский; младшую Нюрку, которая ревела, потому что потеряла тряпичную куклу; проводницу, которая кричала не садиться, а потом сама подсадила старуху с мешком; и мать, которая в последний момент обернулась и сказала ему не «береги себя», а «Ваня, ты бы поел».

Он тогда не смог ничего посчитать. Он стоял на перроне, обычный человек двадцати пяти лет, и не знал, сколько дней идёт письмо в Казахстан, и не знал, сколько хлеба нужно

двенадцати детям, из которых осталось трое дома, и не знал, жив ли брат. Он просто стоял и смотрел, как уходит эшелон, и в голове у него было пусто и гулко, как в выметенной избе.

Валя не поехала. Ей было семнадцать, и она сама пошла в военкомат, потом на завод, и мать не смогла её удержать, а Иван не стал, потому что понял: если он начнёт удерживать, она возненавидит его на всю жизнь.

Теперь, в палатке, в сентябре, с новой головой, он лежал и получал всё то, чего не мог получить тогда.

Письмо в Казахстан идёт полтора месяца — он вывел это по трём письмам, которые пришли в разные адреса и легли в его память ещё до грота. Значит, если он напишет сегодня, она получит в середине октября. Значит, у него есть полтора месяца, чтобы что-то сделать, прежде чем она узнает, что он куда-то поехал.

Хлеба на двенадцать человек нужно было четыре килограмма в день по норме сорок второго, и мать получала по карточкам меньше, и он теперь видел, откуда она брала разницу, и это было так просто и так страшно, что он сел на подстилке и опустил голову в ладони.

Он мог посчитать всё. Он не мог вернуть август.

К третьему часу он понял, что так нельзя. Не потому что устанет — он не уставал, — а потому что тело требовало отдыха, а голова не желала ему уступать. И тогда Иван сделал то, что до этой ночи не приходило в голову никому: он попробовал выключать не весь мозг, а по частям.

Это было похоже на то, как в доме гасят свет по комнатам. Он сосредоточился на зоне, отвечавшей за зрение, и мягко, аккуратно, будто закрывая дверь, отвёл её в темноту. Мир стал чёрным, но мысль осталась. Потом отвёл зону слуха — храп Петрова исчез. Потом зону ощущений тела — руки и ноги перестали быть мокрыми и холодными, стали просто ничьими. Он гасил участки один за другим, оставляя гореть только ту тонкую, холодную нить чистого расчёта, которая и была теперь им самим.

Он делал это медленно и с ошибками. Дважды он гасил слишком много и проваливался в пустоту, где не было ни мысли, ни времени, и выныривал оттуда с колотящимся сердцем. Один раз он погасил не ту зону и вместо слуха отключил счёт, и это было так похоже на смерть, что он вернул всё обратно за секунду и лежал, дрожа, пока не отпустило.

К четвёртому часу он научился. Не идеально — но научился.

Тело лежало и отдыхало. Сознание — нет. Оно работало дальше, тихо, без шума органов чувств, перебирая журналы, карту, сводку о Сталинграде, лицо матери, которую он проводил в эвакуацию в августе, старшего брата, ушедшего на фронт в сорок первом и пропавшего без вести.

К утру Иван понял две вещи. Первая: спать по-старому ему больше не нужно. Он может отключать части мозга по очереди и жить так неделями, месяцами, годами, если потребуется. Вторая: та странность с Петровом и образцом вечером была не случайностью. Он посмотрел на человека — и человек перестал ему перечить. Не испугался, не уважил — просто перестал. Будто Иван своим взглядом выключил в нём возражение, как выключает лампу.

Он вспомнил это и долго лежал с открытыми глазами, глядя в потолок палатки, и на лице его не было ни радости, ни страха — только холодное, взрослое понимание: то, что с ним случилось, не лечится и не забывается. Это теперь он. Навсегда.

— Ну хорошо, — сказал он тихо, одному себе. — Посмотрим, на что ты годишься.

Утром он вышел из палатки и увидел лагерь так, как не видел никогда.

Он видел Рябова и по осанке, по цвету лица, по тому, как тот держал кружку двумя руками, понял, что у старика болят почки и что он скрывает это, потому что боится, что его снимут с партии и отправят в тыл, где он умрёт от безделья. Он видел Лапшина и по его пальцам, обожжённым оловом, понял, что тот не спал тоже, но по своей причине — ловил Москву.

Он видел Тарагая и понял, что проводник уже решил уйти, потому что здесь стало нехорошо, и что он не скажет об этом, а просто однажды утром не окажется на месте.

Он знал про людей то, чего они сами про себя не говорили. Это было не чтение мыслей — он не слышал слов, он видел следствия. И это было тяжелее, чем чтение мыслей, потому что слова можно оспорить, а следствия нет.

Буровую прислали через одиннадцать дней.

Иван не спал ни одной из этих ночей — гасил зоны, как учился, и работал: сводил замеры, писал методичку нового способа читать пласты сквозь базальтовый экран, готовил доклад, который, по его расчёту, должен был лечь на стол не в институте, а выше.

Он писал методичку четыре раза. Первые три он рвал, потому что писал так, как думал теперь, а думать так никто больше не мог. В четвёртый раз он сел и заставил себя идти медленно, шаг за шагом, как учат детей: сначала это, потом это, потом смотри сюда. Он написал сорок страниц, из которых тридцать были объяснениями того, что ему самому было очевидно с первого взгляда. Это была самая трудная работа за одиннадцать дней, и он потом понял, что именно она была главной.

Петров ходил за ним тенью и молчал, изредка крестясь, когда думал, что Иван не видит.

Иван видел. Он не мешал.

На шестой день Петров сел писать письмо домой, в Вологду, и долго возился с адресом, и попросил Ивана посмотреть, правильно ли он написал улицу. Иван посмотрел и сказал, что правильно. Он не стал читать письмо, но он видел по лицу Петрова, что там написано про мать и про то, что он скоро вернётся, и он получил цифру, которую не хотел: геологов из партии в сорок третьем заберут в армию первыми, потому что они молодые и здоровые, и вероятность возвращения была около шестидесяти процентов.

Иван ничего не сказал. Он вернул конверт и пошёл к приборам, и это был первый раз в его жизни, когда он сознательно не сказал человеку правду, которую знал.

Рябов за эти дни постарел ещё на год. Он таскал образцы, которых от него не требовали, и складывал их в ящики с такой аккуратностью, будто хоронил. На девятый день он подошёл к Ивану и спросил, будет ли в методичке его фамилия.

— Будет, — сказал Иван. — Вы тридцать лет собирали то, без чего я бы ничего не свёл.

— Мне не для отчёта, — сказал Рябов. — Мне для внука. Он в сорок первом ушёл, ему было девятнадцать. Если он вернётся, я хочу, чтобы у него было что-то, где дед не просто ходил по лесу.

Иван вписал его фамилию в титул методички, вторым после своей, и Рябов посмотрел на это и ничего не сказал, но потом весь день ходил прямее.

Тарагай ушёл на десятый день, как Иван и знал. Он не пропал — он оставил на камне у палатки завёрнутую в бересту рыбу и ушёл по своей тропе, и это было честно, потому что он не обещал оставаться до конца.

Скважину заложили ровно там, где Иван ткнул пальцем в карту. На четвёртый день бур дошёл до четырёхсот восьмидесяти метров. На пятый из трубы хлынула чёрная, густая, пахнущая серой и древним морем нефть.

В лагере стояли сутки тишины, а потом Петров сел на корточки у устья скважины и заплакал — от усталости, от радости, от того, что не понимал, что происходит. Иван стоял рядом, смотрел на чёрную струю и не радовался. Он считал. Нефть — это хорошо. Нефть — это бензин, танки, самолёты. Но нефть сама по себе фронт не выиграет. Выиграет тот, кто решит, куда её влить. А решают не в тайге.

В тот вечер он написал матери.

Он взял лист из журнала, сел у печки и написал: «Мама, я жив и здоров. Работаю. Скоро приеду в Москву, может быть, увидимся».

Он посмотрел на четыре строчки и понял, что это всё, что он может написать. Он не мог написать про грот, потому что она бы поняла, что с ним что-то случилось, и стала бы искать его вместо того, чтобы беречь младших. Он не мог написать про нефть, потому что это было секретно. Он не мог написать про брата, потому что не знал ничего, а врать про брата он не мог даже ей.

Он мог написать про стол. Он подумал и дописал: «Я помню стол».

Он не знал, поймёт ли она. Он сложил лист вчетверо, вложил в конверт и опустил в почтовый ящик на станции, когда поехал сдавать телеграмму.

Доклад ушёл в Москву телеграммой, а следом, через неделю, пришёл вызов: Кузнецову явиться в Москву с материалами и методом. Основание было законное, железное — открытие промышленной залежи новым способом. Никто не мог сказать, что аспирант самовольно бросил партию. Партия выполнила задание. Партия нашла нефть. Теперь партию звали в столицу.

Иван собрал рюкзак, расписался в журнале передачи дел Петрову, обнял молча троих оставшихся геологов и сел в товарно-пассажирский поезд, шедший на запад.

Рябов на прощание сунул ему в рюкзак кусок сушёной рыбы, завёрнутый в бумагу, и сказал, чтобы он ел в дороге, потому что в дороге не кормят. Лапшин дал ему катушку проволоки — не зачем, а просто дал, потому что проволока в дороге всегда нужна. Петров ничего не дал, потому что у него ничего не было, и стоял с таким лицом, будто его оставляют одного в тайге навсегда.

— Алексей, — сказал Иван. Он впервые назвал его по имени. — Ты будешь писать мне. Раз в месяц. Даже если нечего писать.

— Зачем?

— Затем, что я буду знать, что ты жив.

Петров кивнул и не понял, а Иван не стал объяснять, что он знал цифру и что письма — это способ узнавать раньше, чем придёт похоронка.

Поезд полз через тайгу двое суток, прежде чем вышел на Транссиб, и Иван за эти двое суток не сомкнул глаз — в привычном смысле. Он сидел у окна в общем вагоне, среди баб с котомками и молчаливых мужчин в потёртых шинелях, и смотрел, как за стеклом идёт земля. Он держал мозг в рабочем режиме, последовательно отключая лишние зоны, и тело отдыхало под курткой, а сознание — нет.

В вагоне пахло махоркой, варёной картошкой и потом. На полке напротив храпел толстый мужик в ватнике, и этот храп, который раньше сводил бы Ивана с ума, теперь был просто звуком, одним из тысяч, которые он умел отключать по щелчку. Иван иногда отключал его, чтобы подумать в тишине, и включал обратно, чтобы не потерять бдительность — привычка фронтовая, хотя он ещё ни разу не был на фронте.

На вторые сутки мужик проснулся, вытер лицо рукавом и заговорил — не с Иваном, а вообще, в воздух, как говорят люди, которым надо выговориться, чтобы не думать.

Он рассказывал про Ельню. Он был там в сорок первом, в ополчении, и он рассказывал не про бой, а про то, как они трое суток лежали в воронке и как один из них, парикмахер из Смоленска, всё повторял, что у него в кармане остались ножницы, а ножницы были трофейные, немецкие, и он их берёг, потому что резали лучше наших. И как парикмахер умер, и как он, мужик, потом эти ножницы взял, и как они у него украли в госпитале.

— Обидно, — сказал мужик. — Не то что умер. Умер-то все. А ножницы обидно.

Иван слушал и не знал, что на это отвечать. Он мог получить, сколько человек из ополчения сорок первого дожило до сорок второго. Он получил и не сказал.

На третьей станции в вагон сели раненые. Эшелон шёл навстречу, на восток, в тыловые госпитали, и несколько человек пересадили в их поезд, потому что дальше не было места. Один, без ноги выше колена, с бледным лицом и пустыми глазами, сел у окна напротив Ивана и молча смотрел в стекло, как смотрят люди, которые уже не ждут от дороги ничего хорошего.

Иван смотрел на него и думал. Не о нём конкретно, а о тысячах таких же. О брате, который где-то там, на западе, может быть, уже такой же бледный и пустой. О матери, которая каждый день ждёт почтальона и боится его. О сёстрах, которых эвакуировали, о мальчишках, которых в сорок втором гонят на фронт семнадцатилетними, потому что взрослых не хватает.

Баба напротив достала хлеб, разломила на четыре части и одну протянула безногому. Он не взял. Она положила ему на колено и не стала уговаривать, и хлеб лежал у него на колене всю станцию, а потом он его съел, не глядя.

Иван смотрел на этот хлеб и считал граммы, и калории, и то, сколько таких буханок нужно на эшелон раненых, и то, что эшелонов идёт восемь в сутки, и то, что за месяц это тысячи тонн, и то, что тонны идут по тем же веткам, что и снаряды, и что кто-то должен решать, что везти первым.

Он впервые подумал не «кто-то должен», а «я мог бы».

Ночью поезд встал на разъезде, и в вагоне стало тихо так, что слышно было, как остывает паровоз.

Иван не спал и не мог больше сидеть. Он встал и пошёл в тамбур, потому что там был воздух с улицы, а в вагоне его не осталось.

В тамбуре стояла женщина и грела руки о жестяную кружку.

Она была не молодая — лет тридцати, в шинели поверх форменного платья, и шинель была мужская, на два размера больше, и рукава подвёрнуты в три оборота. Волосы забраны туго, по-уставному, и одна прядь всё равно выбилась у виска, и она её не поправляла, потому что руки были заняты кружкой. Лицо широкое, скуластое, обветренное, и на переносице след от очков, которых не было, — значит, очки потеряны или сломаны недавно.

Она посмотрела на Ивана и сказала первое, что он не ожидал:

— У вас пульс шестьдесят два.

— Что?

— Я по шее считаю. — Она кивнула на его воротник. — Не хочу. Само. Я на людей смотрю и считаю, и не могу перестать. Муж говорит, что я на прогулке не гуляю, а работаю.

Иван молчал.

Он посмотрел на её шею и получил её пульс — семьдесят восемь, — и понял, что она делает то же, что он, только у неё это от двенадцати лет работы, а у него от камня в гроте, и что со стороны это, наверное, выглядит одинаково.

— Вы медсестра?

— Старшая. Эвакогоспиталь. — Она отпила из кружки. — Еду обратно. Ездила за пополнением: у меня осталось четыре сестры на двести мест, а надо двенадцать. Мне дали шесть, все из выпуска, который учился восемь месяцев вместо трёх лет.

— Восемь месяцев — это мало?

— Это ничего. — Она сказала это без злости. — Они не умеют щупать пульс, они умеют писать в журнал. Я их научу за месяц. Мне не научить их другому — тому, что нельзя написать в журнал.

— Чему?

Она помолчала.

— Тому, кого брать первым.

Поезд стоял, и в темноте было слышно, как на соседнем пути шипит другой паровоз, и как далеко в лесу кричит птица, которой не по времени кричать.

— Я не лечу, — сказала она. — Я сортирую. Это моя работа, и я её ненавижу, и я её делаю лучше всех в госпитале. Приходит партия, сорок человек, а операционная одна, и хирург один, и я решаю, кто ляжет на стол сейчас, кто подождёт два часа, а кто пойдёт в палатку умирать, потому что на него времени нет и не будет.

— Как вы решаете?

— По тому, кто выживет, если помочь, и умрёт, если не помочь. — Она посмотрела на него. — Тех, кто выживет и без меня, я откладываю. Тех, кто умрёт и со мной, я откладываю. Я беру середину. И середина — это всегда трое из сорока, а остальные тридцать семь ждут, и я знаю, что часть из них умрёт от ожидания, и я знаю их фамилии, потому что я записываю всех.

Иван стоял и слушал, и у него в голове уже шёл счёт, и он не мог его остановить.

Он спросил:

— Сколько умирает от ожидания?

— По-разному. Если партия пришла с переднего края и шла до нас сутки — половина из тех, кого я отложила. Если пришла быстро, за два часа — почти никто.

— Значит, дело не в вас.

— Дело во времени. — Она кивнула. — Я это говорю всем, кто приезжает проверять. Мне говорят: плохо сортируете. А я не сортирую плохо. Я сортирую правильно, но ко мне привозят поздно, и от этого мои правильные решения никого не спасают.

Она отпила и вытерла рот рукавом.

— Я считала. У меня за прошлый месяц умерло сорок два человека, из них двадцать девять — те, кого я отложила, и все двадцать девять прошли до нас больше двенадцати часов. Если бы они шли шесть, я бы взяла их в середину, потому что они были бы ещё в середине. Понимаете? Они умерли не от раны. Они умерли от того, что стали не тем случаем, пока ехали.

Иван молчал.

Он стоял в тамбуре, и в голове у него складывалось то, чего он не знал час назад: что война — это не бой. Бой — это то, что происходит в конце. А до конца идёт дорога, и на дороге человек переходит из одной графы в другую, и никто не считает эти переходы, потому что все считают бой.

— Вы это кому-нибудь говорили? — спросил он.

— Всем. Начальнику госпиталя, начсану армии, двум проверяющим.

— Что ответили?

— Что нужно лучше сортировать.

Иван посмотрел на неё.

Он вывел за две секунды, что она говорит одно и то же разным людям и получает один и тот же ответ, и что ответ не глупый, а просто про другое, и что так будет всегда, пока кто-нибудь не принесёт цифру, из которой видно, что дело в дороге.

— Запишите, — сказал он. — Не жалобу. Таблицу. Сколько прошло часов от ранения до вас, и что стало с человеком. По каждому. За месяц.

— У меня есть. В журнале.

— В журнале это по каждому отдельно. Сведите в одну таблицу, чтобы видно было: столько-то часов — столько-то умерло. Одна страница. Тогда это будет не ваша жалоба, а факт, и с фактом нельзя спорить, можно только считать.

Она смотрела на него долго.

— Вы кто?

— Геолог.

— Геолог, — повторила она. — Ну хорошо. Геолог.

Она допила кружку и поставила её на подоконник тамбура, и жестянка звякнула о железо.

— Я сведу. Мне это ничего не стоит, у меня всё записано. Только я не знаю, кому это нести, чтобы не вернули.

— Не знаю, — сказал Иван. — Я тоже пока не знаю. Но я поеду туда, где решают, и если увижу, кому это нужно, я скажу.

— Как вас зовут?

Он назвал.

Она кивнула и не записала, и он понял, что она запомнит, потому что она запоминает всех, кого записывает, и тех, кого не записывает, тоже.

— Анна Степановна Веригина, — сказала она. — Госпиталь у нас подвижной, нас возят от Калача до Курска, где хуже. Так что если поедете туда, где решают, и будете там долго — может, и пересечёмся.

Поезд дёрнулся и пошёл.

Она ушла в вагон, потому что ей надо было смотреть своих, а Иван остался в тамбуре и стоял, пока не рассвело, и он не считал ничего конкретного — он думал о том, что за одну ночь узнал больше, чем за три недели в тайге, и что узнал это не из сводки, а от женщины, которая двенадцать лет считает чужой пульс и не может перестать.

Он подумал, что таких людей, наверное, много, и что каждый из них знает свою часть войны лучше, чем кто угодно наверху, и что никто их не спрашивает, потому что они не умеют писать в бумагу так, чтобы бумагу читали.

Он не знал ещё, что через месяц будет стоять в санбате за пакгаузом и говорить с врачом, который трижды переносил палатку обратно, — и что узнает в нём человека той же породы, что и она: который считает, и которого не слушают.

В вагоне кто-то читал вслух газету, купленную на платформе: сводка Совинформбюро, бои на волжских берегах, «упорные оборонительные бои», «противник несёт потери». Слова были казённые, сухие, и от этой сухости становилось особенно страшно, потому что за каждой сухой строкой лежало мясо.

Иван слушал и считал. Не в цифрах — в смысле. Он понял это за одну ночь в тайге, а теперь, в качке поезда, понимание только окрепло. То, что с ним сделали — то зерно, тот пожар в голове, — это не подарок и не проклятие. Это инструмент. Как сейсмограф, как бур, как винтовка. Инструмент, который либо ржавеет в ящике, либо работает.

А работать ему было негде, кроме как здесь. В сорок втором году. В стране, которая умирала на глазах и цеплялась за жизнь последними зубами. Нефть, которую он нашёл, — это только начало. Одна скважина не спасёт. Нужны сотни. Нужны заводы, которые дадут эти сотни. Нужны люди, которые перестанут воевать вслепую и начнут воевать расчётом. Нужен кто-то, кто увидит всю войну целиком — от Сталинграда до Берлина, от танка до бомбы, — и переставит фигуры так, чтобы Союз выстоял и победил. И чтобы победил не ценой десятков миллионов, которых уже не воротишь.

Иван посмотрел в окно. За стеклом летела мёрзлая, бесконечная земля, и где-то впереди, за тысячу вёрст, был город на Волге, который держали такие же, как этот безногий мужик напротив, — молча, до последнего.

«Я не могу воевать винтовкой, — подумал Иван спокойно, без пафоса, как ставят диагноз. — Я не генерал и не маршал. Меня не послушают. Но я могу стать тем, кого послушают. У меня есть голова, которая видит насквозь, и голос, который, кажется, умеет выключать в людях возражение. Этого достаточно, чтобы добраться до тех, кто решает».

Он вспомнил слышанную когда-то, в институте, историю о гипнотизёре Мессинге, которого пускали к самому вождю, потому что вождь любил диковинки и любил, когда ему показывают то, чего не понимают другие. Иван не знал, правда это или байка. Но он знал другое: если вождь любит диковинки — значит, к вождю можно пройти через диковинку. И если у него, Ивана Кузнецова, в руках теперь самая большая диковинка на свете, — значит, дорога открыта. Останется только сделать так, чтобы её увидели нужными глазами.

Поезд качнуло на стрелке, и в окне мелькнул первый за долгое время указатель с московским направлением. Иван посмотрел на безногого мужика, на храпящего ватника, на газету со сводкой у чьих-то ног, и в последний раз за эту поездку отключил в себе всё, кроме холодной, ровной нити расчёта.

Впереди была Москва. А за Москвой — война. И он ехал в неё не солдатом. Он ехал в неё оружием.

# Из предписания управления геологоразведки № 4471 от 22 сентября 1942 г.

ТЕЛЕГРАММА

Москва. Наркомат нефтяной промышленности.
Исх. № 4471 от 22 сентября 1942 г.

Кузнецову Ивану, геологической партии № 7, через управление геологоразведки.

Предписывается явиться в Москву в срок до десятого октября с материалами по методике и результатами опробования скважины.

Основание: решение коллегии от 20 сентября.

Проезд обеспечить по литеру. Партию сдать по описи.

Отчёт о результатах опробования представить в трёх экземплярах.

Народный комиссар — подпись неразборчива.

На обороте, карандашом, рукой приёмщика:
«Отправлено 22/9 в 18 ч. 40 м. Подтверждение получено 24/9.»

# ГЛАВА 2

**Октябрь 1942 года. Москва.**

Столица пахла карболкой, мокрой фанерой и подгоревшей крупой. Иван вышел из вагона на Ярославском вокзале в шесть утра, и первое, что он увидел, была очередь. Она стояла вдоль стены хлебного магазина на Каланчёвке — человек двести, может, больше, и все молчали. Молчание было не сонное, а злое, натруженное, такое молчание бывает у людей, которые стоят здесь каждое утро и знают, что хлеба хватит не всем.

Иван остановился в десяти шагах и стал смотреть. Он не хотел смотреть, но новый мозг работал сам, без спроса, и раскладывал очередь на составляющие: вот женщина с двумя детьми, у неё в кармане зашит запасной талон, она держит его рукой через ткань пальто; вот мужик без левой кисти, культя спрятана в рукав, он стоит третьим от начала и знает, что ему дадут вне очереди, потому что продавщица помнит его брата; вот девочка лет четырнадцати, у неё карточки нет, она пришла просто постоять рядом с людьми, потому что дома холоднее.

Он пошёл вдоль очереди и посчитал её длину в людях и в хлебе. Двести человек по шестьсот граммов — сто двадцать килограммов. Сто двадцать килограммов — это два мешка муки, это полтора часа работы небольшой пекарни, это ничто по сравнению с тем, что нужно городу на сутки. Он прикинул город: четыре миллиона человек, четыре миллиона раз по шестьсот граммов — две тысячи четыреста тонн в день. Он свёл вагоны: сто двадцать вагонов в сутки, каждый день, без остановки, только хлеб.

Он остановился у тумбы с афишей и постоял, держась за неё рукой.

Он был в Москве два месяца назад, проездом, когда ехал в Сибирь. Тогда он видел город и не видел ничего. Теперь он видел сто двадцать вагонов в сутки и понимал, что если хоть один не придёт, то двести человек у этого магазина не получат хлеба, и он теперь знал, как зовут эту арифметику. Она называлась тыл, и она держалась на том, что кто-то сводил вагоны.

Москва была не та, что в августе.

Он шёл от вокзала к трамваю и видел это по мелочам, которые раньше не заметил бы. Окна заклеены не бумагой, а фанерой, и фанера старая, серая, значит клеили ещё в сорок первом и с тех пор не меняли. На перекрёстках стояли не регулировщики, а женщины с флажками, и одна из них держала флажок левой рукой, потому что правая была на перевязи. Трамваи ходили, но в них не было стёкол — вместо стёкол была фанера с прорезанными щелями, и в щели тянуло, и люди внутри сидели в шинелях и пальто, хотя было ещё не холодно.

Афиша на тумбе была киношная: «Секретарь райкома», сеанс в шесть вечера. Ниже, от руки, чернилами: «При отсутствии света сеанс отменяется, билеты не возвращаются».

Иван посмотрел на приписку и вывел, сколько раз за месяц отменялся сеанс, по тому, как часто в городе нет света. Получилось около восьми раз. Значит, люди покупают билеты и в трети случаев не смотрят кино, и деньги не возвращают, и они всё равно покупают, потому что кино — это единственное место, где два часа можно не думать.

Он пошёл дальше и через квартал нашёл столовую.

Столовая была без карточек, вывеска от руки, дверь с пружиной. Внутри пахло капустой и мокрой одеждой, и было тепло — не по-домашнему, а по-казённому, от большой печи. Иван сел за стол, положил рюкзак на колени и заказал щи и кашу.

Обед стоил двенадцать рублей.

Он заплатил и сравнил: по карточкам тот же обед в заводской столовой стоил бы меньше рубля. Разница была больше чем в десять раз, и он понял, что столовая без карточек существует не для того, чтобы кормить, а для того, чтобы у людей с деньгами был способ их потратить, а у государства — способ эти деньги забрать.

Он ел и слушал.

За соседним столом сидели две женщины, обе в платках, обе с портфелями, и говорили не про войну, а про то, что в их конторе подняли нормы выработки, а расценки оставили те же, и что теперь не заработать, а жить надо. Одна говорила, что муж на фронте и что она ему посылает посылки, а он их не получает, потому что посылки идут три месяца, а часть за три месяца перемещается. Вторая говорила, что перестала посылать и вместо этого пишет письма чаще, потому что письма доходят.

Иван свёл: письмо идёт до фронта от трёх дней до двух недель, посылка — от месяца до трёх. Значит, посылка доходит с вероятностью около шестидесяти процентов, а письмо — с вероятностью около девяноста. Значит, вторая женщина была права, и она была права не по чувству, а по арифметике, и она сама этого не знала.

Он доел кашу и подумал, что за один месяц в тайге он разучился есть медленно.

— Гражданин, чего встали? — окликнули его сбоку на улице. — Проходите, не задерживайте.

Патруль. Сержант с красной повязкой и лейтенант с планшетом. Лейтенант был молодой, безусый, с воспалёнными от бессонницы глазами, и он ненавидел эту работу так сильно, что это читалось в каждой складке его гимнастёрки.

— Документы.

Иван протянул командировочное предписание и паспорт. Лейтенант раскрыл, начал читать. И тут Иван понял, что предписание ему сейчас навредит: там стояло «Комитет по делам геологии», а Комитет по делам геологии в Москве означал человека, который приехал хлопотать о брони, о пайке, о переводе — то есть шкурника. Лейтенант таких не любил. Лейтенант таких заворачивал в комендатуру на три часа, а у Ивана сегодня был приём в десять.

Он посмотрел лейтенанту в глаза. Не пристально, а как смотрят на старого знакомого, которого встретил случайно и рад безмерно. Плечи опустил, дыхание выровнял, голос сделал на полтона ниже и теплее.

— Товарищ лейтенант, вы бы отдохнули. Всю ночь на ногах?

Лейтенант моргнул. Что-то в его лице дрогнуло и обмякло.

— Вторую, — сказал он вдруг доверительно, будто они были друзьями детства. — Смена кончилась в четыре, а нас опять сюда.

— Безобразие, — согласился Иван сочувственно. — Вас бы отпустить. Вы же еле стоите.

— Отпустят, — лейтенант вернул документы, даже не дочитав вторую страницу. — Через час. Идите, товарищ.

Иван пошёл. Отойдя на двадцать шагов, он остановился и прислонился к стене, потому что его замутило — не физически, а как-то иначе, изнутри. Он только что сломал человеку волю. Не ударил, не обманул, не подкупил — просто взял и переставил внутри него что-то, и тот сам, добровольно, с благодарностью отдал то, что должен был защищать. Лейтенант теперь весь день будет думать, что он слаб и болен, и не поймёт почему.

«Так вот как это работает», — подумал Иван холодно. И тут же, вторым слоем мысли: «Значит, надо быть осторожным. Это не фокус. Это оружие, у которого нет предохранителя».

Он пошёл дальше, стараясь ни на кого не смотреть прямо.

До двора на Соколе он добрался к девяти. Та же арка, тот же чугунный столб с выбитым ещё в детстве фонарём, та же трещина в асфальте, через которую он прыгал мальчишкой. Окна их квартиры на третьем этаже были заклеены крест-накрест бумажными полосами, а одно, мамино, забито фанерой. Мать и младшие уехали в эвакуацию в августе, в Казахстан, письмо оттуда шло полтора месяца. Валя, средняя сестра, осталась — работала на заводе, делала что-то для снарядов, сама толком не знала что, ей семнадцать.

Иван стоял под окнами двадцать минут. Он мог подняться. Он мог позвонить, обнять её, поесть настоящей еды, поспать на настоящей кровати, услышать живой человеческий голос,

который называет его Ванькой. Он рассчитал всё: подъём — четыре минуты, разговор — час, дорога обратно — сорок минут, риск опоздать на приём — восемнадцать процентов.

Он не поднялся.

Не потому что боялся опоздать. А потому что знал: если он войдёт в эту квартиру и увидит Валины руки в цыпках и её попытку улыбнуться, он останется. Он останется здесь, будет носить ей хлеб, чинить примус, прятать её от бомбёжек — и всё, что он теперь мог сделать для страны, превратится в одну спасённую девочку. Одна девочка против миллионов. Он умел считать, и счёт был жестокий.

Иван развернулся и пошёл к трамвайной остановке.

Проходная завода была по пути, через два квартала, и он знал это ещё до того, как посчитал. Он посчитал сейчас: восемь минут лишних, риск опоздать поднимается с восемнадцати процентов до двадцати трёх.

Он пошёл.

Он потом вспоминал это решение чаще, чем многие другие, потому что оно было первое, где он сознательно поставил сестру выше расчёта, и он знал, что делает, и он сделал.

У проходной шла пересменка.

Завод был не новый, кирпичный, с трубой, которая не дымила — значит, работал не весь, значит, часть цехов стояла или перешла на другое. Из ворот шли люди, и Иван смотрел на них и не понимал сначала, что его остановило. Потом понял: они шли как старики. Не сгорбленные, а именно так — медленно, ставя ногу плоско, экономя. Им было по двадцать, по двадцать пять, по тридцать, и они шли как его дед в семьдесят.

Он прочёл по походке, по цвету лиц, по тому, как они держали сумки: недоедание второй степени, не голод, но уже не питание. Он вывел, что при таком рационе работоспособность падает на треть, а брак растёт вдвое, и что снаряды, которые они делают, идут на фронт, и что кто-то должен посчитать эту цепочку до конца, потому что иначе получится, что фронт получает снаряды, которые не взрываются.

Он стоял у стены напротив и смотрел.

Валю он увидел не сразу. Она шла в середине группы, в ватнике не по размеру, в платке, повязанном по-заводски, низко, и с брезентовой сумкой на плече. Она шла и что-то говорила подруге, и подруга смеялась, и Валя улыбнулась — не широко, а одним углом рта, как улыбалась мать, и Иван узнал этот угол раньше, чем узнал лицо.

Ей было семнадцать. За два месяца она стала тоньше в плечах и шире в кистях. Он видел это отсюда, через улицу, и он мог посчитать, сколько килограммов она потеряла, и он посчитал, и от цифры ему стало холодно в спине.

Подруга была рыжая, круглолицая, с широкими бровями, и она смеялась громко, на всю проходную, и это было хорошо, потому что рядом с ней Валя шла прямее. Иван запомнил её лицо, потому что понял: эта рыжая держит его сестру на ногах не хуже, чем паёк.

Он мог перейти улицу. Он мог окликнуть. Восемь шагов, и она обернётся, и всё, что он решил под окнами, развалится за одну секунду.

Он стоял и считал секунды, и он не перешёл.

Валя прошла мимо, не глядя на него, и он смотрел ей в спину, и последнее, что он увидел, был угол платка и то, как она поправила сумку на плече — тем движением, которым он сам поправлял рюкзак в тайге.

Он узнал потом, через много месяцев, что рыжую звали Зоя Тарасова, что ей было восемнадцать и что она работала на том же участке, и что именно она таскала Вале хлеб, когда Валя забывала карточки. Но тогда он не знал ничего, кроме того, что она смеётся, а его сестра рядом с ней идёт прямее.

Он развернулся и пошёл к трамваю, и он опоздал на приём на четыре минуты, и это было в пределах тех двадцати трёх процентов, которые он сам себе разрешил.

Комитет по делам геологии занимал серое здание с колоннами, у входа стоял грузовик, и солдаты выгружали из него ящики с образцами породы. Внутри пахло мокрым сукном и чернилами. Ивана провели в кабинет заместителя председателя Комитета, где за длинным столом сидели четверо, и все четверо были старше пятидесяти. Вызвал его наркомат нефтяной — по нефти, а метод отдали геологам, потому что метод был их делом. Иван понял это по тому, что в кабинете сидели не нефтяники: у нефтяников на столе лежали бы образцы, а здесь лежали только бумаги.

Доклад он сделал за одиннадцать минут. Схема метода, расчёт погрешности, привязка к сейсмопрофилям, точка заложения скважины, фактический дебит. Он говорил сухо, без единого лишнего слова, и видел, как лица меняются: сначала недоверие, потом интерес, потом что-то третье, чему он не сразу подобрал имя.

Это был испуг.

— Товарищ Кузнецов, — сказал заместитель председателя, лысый человек с пенсне на чёрной ленте. — Вы понимаете, что вы предлагаете? Пересмотреть методику всей поисковой геологии страны.

— Я предлагаю проверить метод на трёх площадях. Если не подтвердится — снимете меня с работы.

— Дело не в работе. — Заместитель председателя снял пенсне, потёр глаза. — Дело в том, что за этой методикой стоят люди. Академики. Институты. Тысячи специалистов, которые двадцать лет искали именно так. Вы говорите им, что они двадцать лет смотрели не туда.

— Я говорю, что базальтовый экран рассеивает сигнал. Это физика, а не обвинение.

— Молодой человек, — тихо сказал один из четвёрки, сухой старик в костюме довоенного покроя. — В нашей стране физика иногда бывает обвинением.

Тишина стала плотной. Иван перебрал варианты и понял: его метод утопят. Не из злобы — из инерции. Его положат в папку, отправят на согласование в четыре института, там напишут отзывы, бумаги вернутся на доработку, доработка уйдёт на новое согласование, и через год о нём вспомнят в виде строки в отчёте. А фронт горит сейчас.

— Мне нужно доложить выше, — сказал Иван.

— Выше уже доложено, — ответил заместитель председателя. — Ваш доклад ушёл вчера вечером. Резолюция будет. Ждите.

— Сколько ждать?

— Как пойдёт. Месяц. Два.

Иван встал. Кивнул. Вышел.

В коридоре он остановился у окна и стал думать. Мозг работал на полную, и от этого воздух вокруг лица начал нагреваться, пришлось прижать лоб к холодному стеклу. Он перебирал ходы, как перебирают карты: институт — тупик, наркомат — тупик, письмо наверх — перехватят и вернут вниз, попытка прорваться лично — расстрел или психиатрическая больница. Нужен был вход, который никто не станет проверять, потому что он лежит вне служебной вертикали. Вход, который открывают не по званию, а по интересу.

И тогда он вспомнил институтскую байку.

Её рассказывал на курилке доцент Ильин, старый циник, который знал всех и всё: про еврея-гипнотизёра с эстрады, которого водили к самому хозяину показывать фокусы. Хозяин, по словам Ильина, любил такие вещи — не из суеверия, а из спортивного интереса: ему нравилось смотреть, как человек делает то, чего наука объяснить не может. И вот этому гипнотизёру, говорили, дозволялось то, чего не дозволялось академикам: он входил без доклада, без папки, без резолюции.

Иван не знал, правда это или враки. Но он знал другое: если байка правдива хотя бы наполовину, значит, существует дверь, которая открывается не званием, а диковинкой. А диковинка у него теперь была такая, что перед ней любой эстрадный фокусник — ремесленник.

Оставалось найти этого человека.

Он нашёл его через два дня, и это оказалось проще, чем он рассчитывал. Мессинг был в Новосибирске, при филармонии, эвакуирован вместе с ленинградскими коллективами, давал концерты по госпиталям и воинским частям. Иван узнал это в справочном бюро гастрольно-концертного объединения, куда пришёл с законным запросом от Комитета: требовался специалист по внушению для проверки методики чтения показаний. Запрос был честный — Иван действительно хотел проверить свою методику. Просто он не сказал, для кого именно.

Справочное бюро было в комнате с двумя столами и картотекой, и картотеку вела женщина лет шестидесяти, в очках, с карандашом на верёвочке. Она искала карточку четыре минуты, и Иван за эти четыре минуты успел посчитать, что картотека содержит около двенадцати тысяч карточек, что порядок в ней нарушен примерно в одном случае из двадцати и что женщина знает нарушения наизусть и потому ищет быстрее, чем искал бы человек, который навёл бы порядок.

— Мессинг, Вольф Григорьевич, — сказала она, доставая карточку. — Новосибирск. Ленинградская филармония в эвакуации. Выступления по госпиталям, по частям, по заводам. Вы к нему по делу?

— По делу.

— Он больной, — сказала она вдруг, не по запросу. — Ноги. Он ходит, но ему тяжело стоять. Вы если по делу, то сидя с ним говорите, не заставляйте его стоять.

Иван посмотрел на неё.

— Спасибо, — сказал он.

Она пожала плечами и убрала карточку.

— Мне все говорят спасибо, а потом всё равно заставляют, — сказала она. — Вы не первый.

Майор госбезопасности, который вёл его дело, помог по служебной линии, без вопросов. Ему было нужно понять, что за зверь этот Кузнецов, и он охотно дал ему возможность проявиться. Он даже выделил сопровождение — того самого капитана, с которым Иван потом проедет всю войну.

Капитан государственной безопасности Аркадий Львович Штейн появился в дверях на четвёртый день, ровно в назначенное время, и первое, что он сделал, — вежливо снял шляпу и извинился за беспокойство.

Ему было тридцать четыре. Невысокий, худой, в аккуратно выглаженной форме, с портфелем, набитым не бумагами, а книгами — Иван по звуку определил, что там тома, а не папки. Лицо узкое, глаза спокойные и очень внимательные. До войны он преподавал логику в педагогическом институте в Чернигове, и это чувствовалось: он говорил короткими правильными предложениями, никогда не повышал голоса и всегда договаривал мысль до конца.

— Товарищ Кузнецов, я приставлен к вам для организационного сопровождения, — сказал он. — Формально я числюсь в особом отделе. Фактически моя работа — писать о вас отчёты. Я предпочитаю сказать это сразу, чтобы между нами не было недоразумений.

Иван посмотрел на него с уважением. Честность такого рода была редкостью и признаком силы.

— Что вы будете писать?

— Всё, что увижу. — Штейн сел, положил портфель на колени. — Например, когда вы будете разговаривать с артистом Мессингом, я запишу, что вы говорили и как он себя вёл после.

— Зачем вам это?

— Затем, что вы аномалия, — спокойно ответил капитан. — Человек без научной школы находит нефть там, где четыре экспедиции не нашли. Это либо гений, либо ошибка, либо агентурная легенда. Моя работа — определить, что именно. Я не желаю вам зла, товарищ Кузнецов. Я желаю порядка.

Иван молчал. Он разобрал этого человека по частям и понял: убить его нельзя, купить нельзя, запугать нельзя. Таких ломает только одно — истина, которую они не могут вместить в свою систему. Значит, придётся быть аккуратным.

— Поедемте, — сказал Иван.

В Новосибирск они не поехали — незачем. Мессинга вызвали в Москву на выступления перед госпиталями, и это устроило всех: филармония получила гастрольное предписание, объединение — план, Иван — встречу. Она состоялась в служебной комнате клуба на улице Горького, между репетицией и вечерним концертом.

Клуб был бывший купеческий, с лепниной на потолке и с колоннами, обшитыми фанерой до половины высоты, чтобы не портили. В служебной комнате стоял рояль без крышки, на рояле лежали чьи-то перчатки, и пахло пылью, гримом и керосином.

Вольф Григорьевич оказался невысоким, плотным, лысеющим мужчиной с очень живыми глазами и цепкими пальцами. Он вошёл устало, опираясь на трость, сел, поставил на стол стакан чая в подстаканнике и посмотрел на Ивана без всякой мистики — как смотрит опытный ремесленник на молодого коллегу.

— Мне сказали, вы хотите проверить метод чтения людей, — сказал он. — Показывайте.

— Сначала вы, — сказал Иван. — Я хочу увидеть, как это делается.

Мессинг усмехнулся.

— Умный. Хорошо.

Он положил на стол часы, снял с руки, и попросил Ивана спрятать их в комнате, пока он отвернётся. Иван спрятал под обшивку колонны, в щель, куда не залезешь без ножа. Мессинг повернулся, взял Ивана за руку выше кисти и повёл его по комнате.

Он ходил минуты три. Он не искал глазами, он смотрел в сторону и говорил — про погоду, про то, что в Новосибирске холодно раньше, про госпитали. И при этом его пальцы на руке Ивана чуть двигались, и Иван понял, что он не часы ищет, а руку.

Он остановился у колонны.

— Здесь, — сказал он и просунул пальцы в щель.

Часы были там.

Иван не сразу нашёл, что сказать. Он не удивился фокусу — он удивился тому, что понял механику, и механика была не та, о которой пишут в газетах.

— Вы не мысли читаете, — сказал он.

— Нет, — согласился Мессинг спокойно, садясь обратно. — Я читаю мускулы. Когда человек знает, где предмет, и подходит к этому месту, у него меняется всё: дыхание, шаг, натяжение руки. Он не знает, что меняется, но я знаю. Я тридцать лет смотрю на это. Я не читаю мыслей, я читаю тело, которое знает.

— Значит, если человек не знает, где предмет, вы не найдёте.

— Не найду. — Мессинг отпил чай. — Это в газетах не пишут. В газетах пишут «телепат». Мне так удобнее зарабатывать, а им — читать. Но вы, я вижу, не за этим пришли.

Иван сел напротив и сказал правду — не всю, но правду.

— Я хочу понять, можно ли сделать так, чтобы человек захотел то, что мне нужно, без приказа.

Мессинг поставил стакан.

— Можно, — сказал он. — Но вы уже это делаете. Я вижу по тому, как вы вошли. Вы вошли так, чтобы я сел первым. Вы не просили, вы просто вошли, и я сел.

Иван почувствовал, как внутри что-то щёлкнуло. Он больше месяца пользовался способностью вслепую, а этот человек за пять минут дал ей имя и объяснил устройство.

Он рассказал про лейтенанта на вокзале — без имён, без деталей, просто механику: как выравнивается дыхание, как опускается тембр, как взгляд перестаёт быть проверкой и становится узнаванием. Мессинг слушал, кивал, потом вдруг сказал:

— Это не гипноз.

— А что?

— Это подстройка. — Он пошевелил пальцами, будто лепил что-то в воздухе. — Гипноз — это когда я приказываю, а он спит. А тут вы не приказываете. Вы становитесь тем, кого он уже готов слушать. Разница большая. Гипноз ломает, а это… — он поискал слово, — обходит.

— Вы можете меня научить?

— Нет, — честно сказал Мессинг. — У вас уже лучше, чем у меня. Я вижу по тому, как вы сидите. Вы держите комнату. Я так не умею, я работаю на сцене, мне нужен свет и внимание. А вы работаете в тени. — Он помолчал, потом добавил тише: — Только вы осторожнее. То, что вы делаете, оставляет в человеке дырку. Он потом чувствует, что его взяли, а как — не помнит. И начинает бояться себя. Я тридцать лет на сцене, я это видел сотни раз.

— У вас тоже? — спросил Иван.

Мессинг посмотрел на свои руки.

— У меня жена, — сказал он. — Она мне помогает на сцене, она индуктор. И иногда я не знаю, она сама захотела или я её подстроил. Я тридцать лет не знаю. — Он поднял глаза. — Вот вам цена, товарищ. Не деньги, не слава. Вы никогда не будете уверены, что вас любят просто так.

Иван запомнил это. Позже, много позже, он будет вспоминать этот разговор в клубе на Горького чаще, чем разговоры с маршалами.

Потом он сделал то, зачем приехал.

Он не стал ничего приказывать. Он просто выровнял дыхание под дыхание Мессинга, опустил голос в тот регистр, в котором говорят перед сном, и повёл разговор так, что каждая следующая фраза вырастала из предыдущей, как ветка из ствола. Он говорил о войне, о госпиталях, о том, как тяжело артисту ездить по раненым, о том, что кто-то должен работать не на сцене, а там, где решают. И где-то на восьмой минуте он вложил в разговор простую мысль, а Мессинг принял её как свою собственную:

— Ведь вы уже рекомендовали одного человека. Того, из Комитета. Хорошего специалиста.

— Рекомендовал, — согласился Мессинг. И искренности в его голосе было столько, что Штейн, сидевший у стены с блокнотом, поднял голову. — Да, кажется, я писал… кому-то писал.

— Писали, — мягко подтвердил Иван. — Спасибо.

Через минуту разговор кончился. Мессинг ушёл на концерт, где сорвал овацию, а Иван вышел на улицу Горького с ощущением, будто у него в руках горячий уголёк. Он только что использовал хорошего человека как лестницу. Не сломал, не унизил — просто переставил в его памяти одну деталь, и тот теперь искренне считал, что сам дал рекомендацию. Дырка, о которой говорил Мессинг, была уже пробита, и её владелец будет годами чувствовать смутную тревогу, не понимая причины.

«Я запомню этот долг», — подумал Иван. И это было не самооправдание, а обещание.

Штейн догнал его на тротуаре.

— Я записал, — сказал он ровно. — Артист подтвердил рекомендацию. Завтра я подниму переписку объединения и проверю, была ли она. Вы хотите объяснить что-нибудь заранее?

— Он ошибся памятью. Люди часто путают.

— Да, — согласился капитан. — Часто. Но не с такой уверенностью.

Он закрыл блокнот и пошёл рядом, не задавая больше вопросов. И это было хуже любых вопросов.

Штейн пришёл через два дня, утром, с папкой.

Он сел, положил папку на стол, но не открыл. Он смотрел на Ивана секунд десять, и Иван понял, что это не пауза для эффекта, а человек собирает слова.

— Я поднял переписку объединения за три месяца, — сказал Штейн. — Входящие, исходящие, служебные записки, гастрольные предписания. Рекомендации артиста Мессинга в отношении гражданина Кузнецова не существует. Ни в одном виде. Ни письма, ни записки, ни устного ходатайства, зарегистрированного секретарём.

Иван молчал.

— Я также поговорил с женщиной, которая ведёт картотеку, — продолжил Штейн. — Она помнит ваш запрос. Она помнит, что вы просили найти артиста. Она не помнит, чтобы артист кого-то рекомендовал, потому что рекомендации идут через неё, а её не было.

Он открыл папку. Внутри лежали три листа, и все три были пусты — Иван понял, что это копии запросов, которые ничего не нашли.

— Я мог бы сейчас написать рапорт, — сказал Штейн. — В рапорте было бы: гражданин Кузнецов путём неустановленного воздействия склонил артиста к ложному подтверждению с целью получения доступа к должностным лицам. Это статья. Не расстрел, но лагерь, и много.

— Почему вы не написали?

Штейн закрыл папку.

— Потому что я не понимаю, как вы это сделали, — сказал он. — А я не пишу того, чего не понимаю. Это моё правило, и оно у меня с тридцать девятого года.

Он помолчал.

— Я тогда работал по делу о вредительстве в Чернигове. Институт, где я преподавал. Обвиняли заведующего кафедрой, хорошего человека, он меня учил. Я нашёл в его статьях логику, которая мне показалась подменой: он выводил одно, а писал другое. Я написал это в заключении. Заключение легло в дело, дело легло в основу приговора. — Штейн говорил ровно, без выражения, и от этого было хуже. — Через год выяснилось, что подмена была в переводе. Он писал по-немецки, переводили плохо, и я нашёл ошибку переводчика, а не его. Его выпустили. Он умер через два месяца, потому что сердце.

Он поднял глаза.

— С тех пор я не пишу того, чего не понимаю. Я пишу то, что видел. Это меньше, но это правда.

Иван смотрел на него и понимал, что перед ним не надзиратель, а человек, который однажды убил своего учителя аккуратным силлогизмом и живёт с этим.

— Кто вы? — спросил Штейн. Не грозно. Он спросил так, как спрашивают у задачи, которую не могут решить.

— Я не знаю, — сказал Иван.

— Это плохой ответ.

— Это единственный честный.

Штейн кивнул медленно, будто именно этого и ожидал, и достал блокнот.

— Я запишу: «Объект отказался объяснить. Отказ не сопровождался попыткой воздействия». — Он написал две строки. — И я запишу отдельно, что вы не стали врать про переводчика. Могли бы сказать, что я ошибаюсь. Не сказали.

Он встал, надел шляпу.

— Я буду писать о вас всё, товарищ Кузнецов. И я хочу, чтобы вы понимали: если однажды я пойму, что вы такое, я напишу и это. Даже если мне это будет нравиться меньше, чем сейчас.

В Кремль Иван попал через одиннадцать дней, вечером, по официальному вызову.

Одиннадцать дней он жил в общежитии Комитета, в комнате на четверых, где трое других были в отъезде, и работал. Он дописал методичку — ту, которую начал в тайге, сорок страниц, из которых тридцать были объяснениями очевидного. Он переписал её ещё раз, потому что понял: если её будет читать человек, который не видит структуру в шуме, ему нужно не

объяснение, а порядок действий. Он сделал порядок. Получилось двенадцать шагов, и на каждый шаг — своя таблица.

По вечерам он ходил по городу.

Он ходил не гулять — он проверял. Он считал вагоны на сортировочных, стоял у хлебных магазинов и записывал длину очередей, смотрел, сколько людей выходит из заводских проходных и как они идут. Он делал это без разрешения, и если бы его задержали, объяснить было бы нечем.

Однажды его задержали.

Это было у Курского, в темноте, и патруль был не тот, что на Каланчёвке — трое, старший сержант, спокойный и очень усталый. Он посмотрел документы, посмотрел на блокнот с цифрами и спросил, что это.

Иван мог подстроиться. Он умел, и это заняло бы полминуты.

Он не стал. Он сказал правду: что он геолог, что считает вагоны, потому что хочет понять, сколько хлеба приходит в город, и что разрешения у него нет.

Сержант смотрел на него долго.

— Ты дурак? — спросил он наконец. — Ты понимаешь, что за такие цифры тебя посадят?

— Понимаю.

— И всё равно считаешь?

— Кто-то должен.

Сержант отдал блокнот.

— Иди, — сказал он. — И считай дома, у окна. С улицы видно, что ты пишешь, а что пишешь — не видно. Люди пугаются.

Иван пошёл. Он потом много раз вспоминал этого сержанта, потому что тот был первый человек в Москве, который отпустил его не потому, что его подстроили, а потому, что понял.

Легенда сработала: рекомендация артиста, которого знали в аппарате, легла поверх доклада о нефти, и получился документ, который никто не стал проверять по существу, потому что проверять было неловко — вдруг это и правда тот самый случай, о котором ходили слухи.

Проход был скучный, и это Ивана успокоило. В комендатуре сверили фамилию со списком, выписали разовый пропуск, велели расписаться в журнале. Часовой у двери посмотрел в бумагу, потом на лицо, потом снова в бумагу и отступил. Никакой мистики. Иван отметил про себя, что бумага надёжнее любого внушения: она не забывает, не сомневается и не просыпается посреди ночи с мыслью, что её обманули.

Он вошёл в кабинет.

Комната была небольшая, с массивным столом, зелёной лампой и тяжёлыми шторами светомаскировки на окнах. За стеклом не было ничего — только чернота Москвы, ни огонька. Пахло табаком, воском и старой бумагой. Было душно, очень душно: печка топлена с утра, форточка закрыта, воздух стоял плотный, как войлок.

За столом сидел человек в простом кителе, с трубкой. Ниже ростом, чем на портретах. Рябое лицо, желтоватые глаза, усы. Он не встал и не поздоровался. Он посмотрел на Ивана так, как смотрят на папку, которую принесли не вовремя.

— Садитесь, — сказал Сталин. — У меня десять минут.

Иван сел. И понял две вещи сразу. Первая: ему нужно считать на полной мощности в комнате, где нечем дышать, и уже под воротником собиралась влага. Вторая, поважнее: эти десять минут он не получит, если останется мальчишкой-аспирантом, которого вызвали из любопытства. Сталин сейчас видел перед собой просителя. Просителей он слушал вполуха и выпроваживал.

Иван начал работать.

Он не стал сутулиться, менять лицо или изображать кого-то. Он сделал то, чему его научил человек в клубе на улице Горького: стал тем, кого этот собеседник уже готов слушать.

Он поймал ритм дыхания хозяина и подстроил своё. Он заметил, что Сталин говорит медленно, с паузами перед ключевым словом, и сам начал отвечать в этом ритме — не быстрее вопроса, а чуть медленнее, как отвечает человек, у которого есть время. Он опустил тембр на полтона, убрал из голоса вопросительные интонации, перестал суетиться руками. Он не льстил и не заискивал. Он держал себя как специалист, которого позвали к делу и который знает цену своему времени не меньше, чем вызывающий.

Это заняло четыре минуты. На пятой Сталин отложил трубку.

— Мне доложили про нефть, — сказал он негромко, с мягким акцентом, чуть растягивая гласные. — И доложили про вас. Разные люди доложили по-разному. Один говорит — гений. Другой говорит — фокусник. Третий говорит, что вас вообще не существует, что вы придуманы артистом Мессингом.

— Существует и нефть, и я, — сказал Иван. — Нефть можно проверить бурением. Меня — вопросом.

Сталин усмехнулся в усы.

— Хорошо. Кто вы?

— Геолог, товарищ Сталин. Аспирант. Я нашёл залежь под базальтами, потому что увидел в шуме структуру.

— А фокусы?

— И фокусы тоже.

— Покажите.

У двери стоял офицер охраны — рослый, каменный, с руками по швам. Иван посмотрел на него, выровнял дыхание, опустил тембр, расслабил плечи — и произнёс мягко, почти ласково:

— Товарищ капитан, вам жарко. Расстегните ворот.

Офицер моргнул. Посмотрел на Сталина — тот молчал. И тогда офицер, сам не понимая зачем, расстегнул верхнюю пуговицу кителя и провёл ладонью по шее.

— Фокусник, — сказал Сталин без удивления. — Это я видел. Мессинг тоже так делает. Мне это не нужно, у меня есть люди, которые умеют заставлять.

Он посмотрел прямо.

— Мне нужно другое. Скажите мне, что будет с городом на Волге.

Вот оно. Иван почувствовал, как жар поднялся от груди к горлу. Он не знал будущего — он вообще не знал, чем кончится война, и пророческого дара у него не было. У него была только голова, которая считала. И сейчас эту голову надо было включить целиком, в душной комнате, при человеке, который убьёт за паникёрство и убьёт за пустое обещание.

Он включил.

Мир сузился до потока данных. Сводки Совинформбюро за три месяца, которые он читал в поезде и в приёмных. География: Дон, Волга, степь, единственная железная дорога через Калач. Логистика: сколько тонн в сутки нужно армии в триста тысяч человек, сколько пропускает одна ветка под бомбёжкой, сколько километров подвоза на конской тяге осенью. Психология: немцы идут на скорость, а она требует горючего, и горючее идёт по одной ветке. Состав флангов: румыны, венгры, итальянцы — армии, которые воюют за чужую идею, с чужим снаряжением, зимой, в степи.

Он считал восемь секунд. Восемь секунд на полной мощности в закрытой комнате — и пот побежал по спине ручьями, а перед глазами поплыли красные пятна.

— Город не падёт, — сказал Иван. Голос был ровный, он держал его силой. — Немцы вязнут в улицах. В городе их авиация бесполезна, потому что наши стоят в пятидесяти метрах от них, и бомбить нельзя — заденет своих. Их танки бесполезны в развалинах. Они платят пехотой за каждый дом, а пехоты у них конечное число. К ноябрю они выдохнутся. И тогда

мы ударим не в лоб, а по флангам — там, где румыны. Румынская армия не хочет умирать за Гитлера. Она разбежится от первого серьёзного удара. Кольцо замкнётся.

Сталин слушал, не двигаясь.

— Когда замкнётся?

— Если резервы подтянут скрытно и ударят одновременно с двух сторон — конец января, начало февраля. Раньше не выйдет: нужно время на сосредоточение.

— А если ударить раньше?

— Тогда кольцо будет рыхлое, и они прорвутся наружу. Мы потеряем шанс. Второй раз такой возможности не будет.

Сталин долго молчал. Потом спросил совсем другое:

— Вам плохо?

Иван не сразу понял вопрос.

— Вы сидите красный и мокрый, как в бане, — сказал Сталин. — В комнате тепло, но не настолько. Вы больны?

И вот здесь Иван сделал единственную правильную вещь за весь вечер: он не стал врать.

— У меня особенность организма, товарищ Сталин. Когда я думаю сильно, тело выделяет много тепла. Мне нужен холод, иначе я теряю сознание. В тайге я упал в ручей, поэтому и живой.

Сталин посмотрел на него внимательно, потом встал, подошёл к окну и открыл форточку. В кабинет ворвался сырой октябрьский воздух, пахнущий гарью и рекой. Иван вдохнул полной грудью, и красные пятна ушли.

— Странно, — сказал Сталин, не оборачиваясь. — У Мессинга такого нет.

— Мессинг работает на сцене, — сказал Иван. — Там не надо думать. Там надо помнить номера.

Сталин обернулся. И впервые за вечер в его глазах появилось не подозрение, а расчёт — тот самый, ради которого Иван ехал через полстраны.

— Хорошо, — сказал он. — Проверим на деле.

Он вернулся к столу, нажал кнопку. Вошёл секретарь — сухощавый человек с папкой, Иван узнал его по описаниям: Поскрёбышев. Сталин продиктовал коротко, не глядя на Ивана:

— Оформить товарища Кузнецова советником при Военном совете Сталинградского фронта. Особые полномочия. Доступ к оперативным документам фронта без ограничений. Право доклада мне напрямую через ВЧ. Прикомандировать особый отдел для сопровождения. Отдельным пунктом: докладчика не задерживать ни на каких постах, обеспечить прохладное помещение при работе.

Секретарь записал. Иван слушал последний пункт и понимал, что это не забота. Это техрегламент. Сталин только что внёс его перегрев в инструкцию, как вносят требования к охлаждению станка.

— Идите, — сказал Сталин. — И запомните, Кузнецов. Если вы окажетесь шарлатаном, вас расстреляют свои, а не немцы. Если окажетесь тем, что я думаю, — вас будут ненавидеть все генералы фронта. Выбирайте, чего вам больше хочется.

— Мне хочется, чтобы город не пал, — сказал Иван.

Он вышел. В приёмной Штейн уже сидел с портфелем на коленях и блокнотом в руке. Капитан встал, аккуратно закрыл блокнот и сказал:

— Мы едем вместе, товарищ советник. Завтра, в семь сорок, с Казанского. Я взял нам купе и термос. И ещё я взял справку из медсанбата фронта о температурном режиме в штабных землянках. Полагаю, вам будет полезно.

Иван посмотрел на него. Капитан не улыбался. Он просто уже начал собирать данные — и первым делом собрал данные о слабом месте.

Потом Штейн задал вопрос, которого Иван боялся больше всех остальных.

— Я сидел здесь сорок минут, — сказал он ровно. — Я слышал первые слова, которые вам сказали: «у меня десять минут». И я слышал, чем всё кончилось. Товарищ Кузнецов, за сорок минут вы вошли туда мальчишкой, которого позвали из любопытства, а вышли человеком, которому дают доступ ко всем документам фронта. Я не про фокус с воротником. Фокус я понимаю. Я про другое: он смотрел на вас в начале и в конце по-разному. Это разные взгляды. Что вы сделали?

Иван молчал. Он мог соврать про уверенность, про убедительность доводов, про удачно подобранную цифру. Но Штейн был логиком, и логик видит, когда из посылок не следует вывод.

— Я говорил с ним на его языке, — сказал наконец Иван.

— На грузинском? — вежливо уточнил капитан.

— На языке человека, который считает, — ответил Иван. — Он не любит, когда ему возражают. Он любит, когда ему возражают правильно. Это разные вещи, и вторая встречается редко.

Штейн посмотрел на него долгим спокойным взглядом. Потом открыл блокнот и записал что-то короткое, в две строки.

«Умный, — подумал Иван. — Опасно умный».

Поезд шёл на юг третьи сутки. Купе было тихое, четырёхместное, с продавленными дерматиновыми диванами, растрескавшимися по сгибам, и запахом хлорки — Штейн выбил его по предписанию, и это было правильно: советник без звания, но с бумагой от Сталина получал ровно то, что положено по бумаге, не больше.

Проводник был мужик лет пятидесяти, с руками в мазуте и с той особенной властностью, которая бывает у людей, от которых зависит, будет ли у тебя чай. Он посмотрел предписание, посмотрел на Ивана, посмотрел на Штейна и сказал, что белья нет, потому что бельё сдали в стирку, а стирка на станции, а станция была вчера.

Штейн молча достал из портфеля две простыни.

Проводник посмотрел на них, потом на капитана, и в его лице что-то изменилось — не уважение, а узнавание человека, который возит с собой простыни, потому что знает, как устроена дорога.

— Свои, — сказал он.

— Свои, — сказал Штейн.

Иван смотрел на это и понимал, что капитан ездит по фронтам не первый месяц и что портфель с книгами — это не поза, а способ не сойти с ума в вагонах.

За окном тянулась выжженная степь, потом пошли разъезды, платформы с орудиями под брезентом, эшелоны с углём. На вторые сутки их обогнал санитарный состав, идущий на восток, и Иван долго смотрел в окна, где за мутным стеклом угадывались бинты и лица.

На третьей ночи была бомбёжка. Поезд встал в поле, свет погас, и в темноте стало слышно, как далеко на западе ухает. Женщины из соседнего купе начали молиться шёпотом, кто-то плакал. Штейн сидел прямо, положив руки на портфель, и смотрел в темноту.

— Вы не боитесь? — спросил он Ивана.

— Боюсь, — честно сказал Иван. — Только не бомб. Я боюсь опоздать.

Он не заметил, как сказал лишнее слово. Штейн заметил. Капитан ничего не ответил, но в темноте раздался короткий скрип — это он открыл блокнот и что-то записал на ощупь.

Утром в купе подсел генерал. Он был в папахе, с обветренным лицом и перебинтованной кистью, ехал из госпиталя обратно на фронт, и когда узнал, кто такой Иван, поморщился так, будто ему подали прокисшее.

— Советник, — сказал он с презрением. — Из этих, которые карты рисуют. У меня в сорок первом был такой. Прислали из Москвы, умный, в очках. Знаете, где он теперь? Под Ельней лежит, вместе с моей ротой, которую он красиво расставил.

Иван опустил глаза на свои руки. Он мог бы поставить этого человека на место одним взглядом — и не стал. Он понял, что генерал прав по-своему: москвич с папкой действительно ничего не знает про то, как замерзает пулемётная лента и как выглядит человек, которому осколком снесло половину лица.

— Товарищ генерал, — сказал Иван. — Я не буду рисовать карты. Я буду считать тонны. Скажите, сколько суток ваша дивизия держится без подвоза боеприпасов?

Генерал прищурился.

— Трое. Если экономить — четверо.

— А горючего?

— Полтора. Дальше машины встают.

— Значит, немцам тоже полтора, — сказал Иван. — Только у них подвоз длиннее на двести километров, и идёт по одной ветке через Калач. Вот и вся стратегия.

Генерал долго смотрел на него. Потом достал кисет, стал сворачивать цыгарку здоровой рукой и сказал уже иначе, без презрения:

— Ну, посчитай, коли умеешь. Только у нас там не тонны, а люди. И у них имена есть.

Иван отвернулся к окну. За стеклом шла степь, рыжая, изрытая, а на горизонте уже висело бурое марево — над городом стояло столько дыма, что небо на десятки километров вокруг стало грязным.

Он умел считать тонны. Он не знал пока, как считать имена. Этому предстояло научиться в ближайшие три месяца, и это будет самое тяжёлое, что случится с ним за всю его очень долгую жизнь.

# Из сводки Советского информбюро за 20 октября 1942 года

«В течение 19 октября наши войска вели упорные оборонительные бои на подступах к Сталинграду. Противник неоднократно переходил в атаки, пытаясь прорваться к Волге в районе заводских посёлков.

Все атаки противника отбиты с большими для него потерями.

На других участках фронта — без существенных изменений.

За истекшие сутки на подступах к Сталинграду уничтожено до двух батальонов пехоты противника и 27 танков.

Наши войска отбили у противника несколько населённых пунктов.»

# ГЛАВА 3

**Конец октября 1942 года. Сталинградский фронт.**

Степь кончилась не постепенно, а сразу: поезд вышел из-за перелеска, и Иван увидел небо. Оно было неправильное. Не серое, не багровое от заката — грязно-бурое, с рваными чёрными прожилками, и оно висело низко, будто придавило землю сверху. Так выглядит небо, когда под ним горит город и горит уже давно, и дым перестал быть событием, а стал погодой.

Иван встал у окна и не сел до самой станции.

Он считал. Не мог не считать. По высоте и плотности дыма — объём горящего. По объёму — сколько кварталов. По количеству кварталов — сколько домов. По домам — сколько людей жило в них до августа. Цифры складывались сами, без спроса, и он не мог их остановить, и это было первое, что он узнал о себе на войне: голова считает всё, даже то, что считать не надо.

— Сядьте, — сказал Штейн. — Станцию бьют по расписанию.

Иван сел. Капитан был прав: станция стояла за Волгой, в двадцати километрах от города, и немецкие батареи накрывали её регулярно, как по работе.

Их обстреляли через сорок минут, когда состав уже разгрузили и Иван со Штейном шли вдоль путей к комендантскому вагончику. Первый разрыв лёг метрах в двухстах, второй ближе, и Иван услышал то, чего не слышал никогда: как воздух перед взрывом втягивается в себя. Потом ударило по ушам, по груди, по земле через подошвы. Он упал, не заметив, как упал, и лежал лицом в сухой колючей траве, и рядом лежал Штейн, аккуратно придерживая портфель, чтобы не съехал в воронку.

Обстрел кончился через семь минут. Иван поднялся, отряхнулся и пошёл дальше.

А в двадцати шагах, у перевёрнутого вагона, сидел боец. Молодой, лет двадцати, в пилотке, съехавшей набекрень. Он сидел ровно, спиной к колесу, и смотрел прямо перед собой, и у него не было половины лица. Он был ещё жив. Он дышал. Иван видел, как поднимается и опускается левая сторона груди, и мозг, который не умел останавливаться, уже посчитал: аспирация, кровопотеря, шок, при таком ранении и таком удалении от санбата — сорок минут, максимум час, вероятность выживания — четыре процента, при немедленной эвакуации — одиннадцать, если бы санбат стоял на двести метров ближе — двадцать три.

Иван остановился.

Он мог подойти. Он мог что-то сказать. Он ничего не мог сделать, и его голова знала это с точностью до процента, и от этой точности его вывернуло наизнанку.

— Идём, — тихо сказал Штейн и взял его под локоть. — Санитары уже идут. Вон, видите? Вы ему не поможете. Идём.

Иван пошёл. Он не отвернулся и не закрыл глаз, потому что закрывать было бы нечестно. Он смотрел на бойца, пока тот не остался за поворотом, и запоминал: пилотка набекрень, левая рука на колене, дышит.

«Двадцать три процента, — подумал он. — Двести метров. Это можно посчитать. Это можно переставить».

Он шёл и считал, где поставить санбаты, чтобы двадцать три процента стали нормой, и это было единственное, что удерживало его на ногах.

Штейн смотрел на него сбоку и ничего не говорил. Но вечером он достал блокнот и записал больше обычного.

Санбат он нашёл через час, и это было не то, что он себе представлял.

Он представлял палатки. Палаток не было. Была землянка, врытая в откос за пакгаузом, и ещё одна рядом, и между ними ход сообщения, и над ходом — брезент, чтобы не было видно

света. Он спустился, и в нос ударил запах: карболка, гниющая солома, кровь и что-то сладковатое, чему он не знал названия и узнал потом — это пахнет гангрена.

Внутри было восемь мест. Восемь. Он сверил койки с тем, сколько людей лежало на полу между койками, и получил двадцать три человека на восемь мест.

Врач сидел на корточках у дальнего угла и перевязывал. Он был молодой, лет тридцати, в фартуке поверх гимнастёрки, и руки у него были в крови до локтя, и он работал так, как работают люди, которые считают не минуты, а секунды: движение, узел, следующее.

Он поднял голову, увидел Ивана и сказал, не переставая работать:

— Если вы за справкой, то справок нет. Если вы за раненым, то называйте фамилию. Если вы просто смотрите, то выйдите, вы мешаете воздуху.

— Я хочу знать, сколько до вас не доходит, — сказал Иван.

Врач остановился.

— Что?

— Сколько раненых умирает по дороге к вам. Не здесь. По дороге.

Врач смотрел на него секунд пять. Потом снова стал перевязывать.

— Реутов, — сказал он. — Кузьма Ильич, военврач третьего ранга. Садитесь вон на ящик, только не на тот, на том человек.

Иван сел на другой ящик.

— Не доходит примерно каждый пятый, — сказал Реутов. — Если считать от переднего края. Если считать отсюда, от станции, то меньше, потому что отсюда близко. А от города — каждый третий, потому что через реку.

— Почему каждый пятый?

— Потому что несут. — Реутов затянул узел зубами, потому что одна рука была занята. — Человека несут на плащ-палатке двое, иногда трое. Идут пригнувшись, потому что открыто. Полтора километра пригнувшись с грузом — это сорок минут, а если обстрел, то час двадцать. За час двадцать человек с осколком в животе умирает. Не потому что я плохой врач. Потому что час двадцать.

— А если бы санбат был на двести метров ближе?

— Тогда двадцать минут вместо сорока. — Реутов поднял голову. — Тогда я бы половину из тех, кого теряю, вытащил. Но я не могу быть на двести метров ближе, потому что там открыто с той стороны, и меня вместе с ранеными накроют, и тогда не будет никакого санбата. Я это считал. Я тут с августа, я считал трижды и трижды переносил палатку обратно.

Иван молчал.

Он свёл то же самое за десять секунд и получил то, что Реутов, только с цифрами: перенос на двести метров вперёд даёт выигрыш в двадцать минут и рост вероятности накрытия с четырёх процентов до тридцати одного. Ожидаемая смертность при переносе выходила выше, а не ниже. Реутов был прав, и он был прав не на ощупь, а потому что три раза проверил на себе.

— Вы правильно считали, — сказал Иван.

Реутов усмехнулся, не поднимая головы.

— Мне все говорят, что я неправильно. Что надо ближе к бойцам. Что я тыловая крыса.

— Вы не крыса. Вы единственный, кто посчитал.

Врач остановился второй раз и посмотрел на него уже иначе.

— А вы кто?

— Я считаю.

— Тогда посчитайте мне другое, — сказал Реутов. — Посчитайте, сколько мне надо бинтов, чтобы перевязывать всех, а не половину. У меня на сутки приходит сорок человек, а бинтов на двадцать пять. Я мою использованные, сушу и вяжу снова. Это не по уставу, и если меня за это посадят, я не буду спорить, потому что я знаю, что это не по уставу. Но я лучше буду вязать стираным, чем смотреть, как человек течёт.

Иван разложил это на цифры.

Сорок перевязок в сутки, средний расход — два бинта на перевязку, восемьдесят бинтов в сутки, двадцать четыре сотни в месяц. Дальше — в тоннах, в вагонах, в месте в эшелоне. Получилось около ста двадцати килограммов в месяц. Сто двадцать килограммов.. Против того, чтобы человек не тёк.

Он записал цифру и понял, что это самая дешёвая вещь, которую он вывел за всю войну, и что её никто не вывел до него, потому что бинты — это не снаряды, и про них не спрашивают на совещаниях.

— Я это довезу, — сказал он.

— Все говорят.

— Я посчитал в тоннах. Сто двадцать килограммов в месяц — это десятая часть вагона. Вагон найти проще, чем сто тысяч бинтов россыпью. Я напишу так, чтобы это шло как имущество связи, потому что связь возят всегда.

Реутов долго смотрел на него.

— Вы это серьёзно?

— Да.

— Вы понимаете, что это подлог?

— Это указание неверной номенклатуры, — сказал Иван. — Подлог — это когда я пишу то, чего нет. А бинты есть.

Врач засмеялся — коротко, впервые за смену, и смех был хриплый и некрасивый.

— Ладно, — сказал он. — Пишите как связь. Мне не стыдно. Мне стыдно будет, если они опять не придут.

Бинты пришли через месяц, и не все, и не сразу, и Иван потом ещё три раза переписывал заявку, меняя номенклатуру, потому что первую отклонили. Но это было потом.

А в тот вечер он спросил у Реутова про бойца у перевёрнутого вагона.

— Привезли? — спросил он. — Двадцать лет, пилотка набекрень, левая рука на колене. Пол-лица.

Реутов не поднял головы.

— Гущин, — сказал он. — Тимофей. Привезли через тридцать пять минут, умер через десять. Я не успел даже трахею посмотреть.

— Отчество?

— Не знаю. У него в медальоне было только имя и фамилия, отчество не вписано. Половина не вписывает, боятся, что если медальон прочтут, то родные узнают раньше срока. Глупость, а делают все.

Иван достал из кармана сложенный вдвое лист, вырванный из сейсмического журнала, и написал на нём: «Гущин Тимофей. Рядовой. Около двадцати лет. Станция, у перевёрнутого вагона. Умер через сорок пять минут после ранения. Отчество неизвестно».

Он посмотрел на строчку.

Он не знал, зачем записывает. Он знал только, что если не записать, то через неделю у него в голове останется «четыре процента, одиннадцать, двадцать три», а Тимофея Гущина не останется, и это было бы неправильно, потому что проценты были его, а Тимофей был свой.

Штаб фронта он увидел не сразу, потому что смотреть было не на что.

Машина шла от станции через пойму, потом нырнула в дубраву, и стало темно — не от вечера, а от крон. Дорога петляла между стволами, и Иван видел только мокрые листья, колеи и часовых, которые возникали из ниоткуда и так же исчезали. Ни строений, ни палаток, ни антенн. Ничего, что можно было бы сфотографировать с самолёта и назвать штабом.

— Приехали, — сказал шофёр.

Они остановились у склона оврага. Иван вышел, посмотрел вокруг — и не понял, где штаб. Потом заметил в склоне дверь. Просто дверь, вросшую в глину, с притолокой из рельса и часовым у косяка.

Штаб Сталинградского фронта был под землёй.

Его строили весь октябрь, и достроить успели только что. Иван спустился по деревянным ступеням на глубину пяти метров и пошёл штольней, обшитой фанерой, и на ходу сводил то, что видел: накат в полтора метра над головой, дубовые и сосновые стойки, электрический свет, вентиляционные короба, тепло от печек. Он видел узел связи, столовую, зал для совещаний. Он видел колодец, вырытый прямо в штольне, потому что выходить с ведрами на реку означало показать немцам, где ты сидишь.

Объём вынутого грунта он вывел по длине ходов и сечению — около четырёх тысяч вагонов. Лес по числу стоек и накатов — около трёхсот вагонов. Людей, которые это сделали, по числу смен и выработке — около восьмисот человек, работавших каждый день, весь месяц, под бомбами, не вырубив ни одного дерева.

Иван остановился посреди штольни и постоял секунду с закрытыми глазами.

Он привык думать, что война — это то, что происходит на том берегу. А тут, под дубами, за месяц, руками, без техники, была вырыта и обшита фанерой подземная деревня, и никто об этом не напишет в сводке, и никто не получит за это ордена, и без неё город бы уже пал.

«Вот что такое страна, — подумал он. — Не пафос. Восемьсот человек с лопатами, которые сделали это за месяц».

Он прошёл ещё двадцать шагов и увидел строителей.

Они доделывали второй участок: тесали стойки, поднимали накат, выносили грунт в ведрах по цепи. Работали в нижних рубахах, и от них шёл пар, и Иван понял, что это не от жары — это от работы, обычная человеческая работа, восемьсот человек, которая греет сама себя.

Один, немолодой, с седой щетиной, сидел на корточках и подгонял стойку топором. Он посмотрел на Ивана, на его расстёгнутый ворот, на блокнот в руке, и сказал:

— Ты чего мокрый-то? Тут не жарко.

— Я думаю сильно, — сказал Иван. — Мне холодно надо.

Строитель посмотрел на него ещё раз.

— А, — сказал он. — Ну думай. Только не над этим проходом, тут накат не доложен, если ты тут думать сядешь, тебя землёй придавит.

Иван отошёл. Он потом узнал, что этого строителя звали Ефим, что он был из инженерного батальона и что через две недели его убило при бомбёжке Средней Ахтубы, но тогда он просто отошёл и подумал, что полезное ему здесь сказал человек, которого не было ни в одном штате.

В большой штольне стоял длинный стол, и на столе лежала карта, придавленная по углам гильзами.

За столом было трое.

Командующий фронтом Андрей Иванович Ерёменко — коренастый, с широким обветренным лицом и тяжёлым подбородком, в кителе поверх свитера. Он смотрел на Ивана без враждебности, но и без интереса: так смотрят на новую машину, которую прислали с завода и которая, скорее всего, сломается в первый месяц.

Член Военного совета Никита Сергеевич Хрущёв — плотный, подвижный, с быстрыми глазами и залысинами. Он не сидел, а ходил вдоль стола, и когда Иван вошёл, обернулся резко, всем корпусом.

И начальник штаба фронта генерал-майор Иван Семёнович Варенников — сухой, аккуратный, с папками, разложенными по порядку, и с карандашом за ухом. Он единственный встал и кивнул Ивану, как коллеге.

— Так это и есть наш советник? — сказал Хрущёв громко. — Молодой. Ты, товарищ Кузнецов, сколько лет-то имеешь?

— Двадцать пять, товарищ член Военного совета.

— Двадцать пять. — Хрущёв усмехнулся и посмотрел на Ерёменко. — Андрей Иванович, у нас в дивизиях начальники штабов седые. А этот, говорят, всю войну посчитать может.

— Мне доложили, что вы нашли нефть, — сказал Ерёменко. Голос у него был низкий, спокойный, и говорил он медленно. — Это дело хорошее. Здесь другое дело. Здесь люди мрут.

— Я знаю, — сказал Иван. — Я видел одного на станции. Ему было двадцать.

Ерёменко посмотрел на него внимательнее.

— И что?

— И я знаю, что если бы санбат стоял на двести метров ближе, у него был бы шанс вдвое больше. Я посчитал по дороге. Я не успел ему помочь, но я успел посчитать. Больше я пока ничего не умею.

В штольне стало тихо. Хрущёв перестал ходить.

— Ладно, — сказал Ерёменко. — Садись.

Он не предложил чаю и не стал объяснять обстановку. Он кивнул Варенникову, и тот вывалил на стол перед Иваном три папки.

— Сводки, донесения, трофейные документы за неделю, — сказал начштаба ровно. — Всё, что есть по шестьдесят второй армии и по немцам напротив неё. Утром доложите, что видите. Если увидите то, чего не видим мы, — будете работать. Если нет — поедете обратно в Москву, и я напишу Иосифу Виссарионовичу, что вы хороший геолог.

— Мне нужно помещение, — сказал Иван. — Холодное. И свет.

Ерёменко поднял бровь.

— Холодное?

— У меня особенность организма. Когда я много думаю, тело греется. В духоте я теряю сознание. Это записано в моём предписании отдельным пунктом.

Хрущёв фыркнул. Ерёменко не улыбнулся. Он посмотрел на Штейна, стоявшего у входа, и Штейн молча достал из портфеля ту самую справку из медсанбата и положил на стол.

— Товарищ капитан предусмотрительный, — сказал Ерёменко.

Варенников взял справку, прочёл, вернул.

— На краю оврага есть недостроенный блиндаж, — сказал он. — Без наката, открытый сверху. Строители его бросили, когда перешли на второй участок. Там будет холодно. Свет проведу.

Недостроенный блиндаж был ямой в глине с бревенчатыми стенами и чёрным октябрьским небом вместо крыши. Ветер шёл по дну и выдувал тепло быстрее, чем Иван его производил. Он попросил принести стол, две лампы и ведро воды. Ведро поставил рядом с собой и опустил в него руки по запястья.

Штейн спустился следом, постоял, глядя на открытый верх.

Потом он увидел на краю стола сложенный лист, вырванный из журнала, и строчку про Гущина Тимофея.

Он ничего не спросил. Он поставил портфель на землю, порылся в нём и положил рядом с листом тонкую тетрадь в чёрном картонном переплёте — из тех, что выдавали в штабах для черновиков.

— Это что? — спросил Иван.

— Тетрадь, — сказал Штейн.

— Я вижу. Зачем?

— Затем, что лист потеряется, — сказал капитан. — А тетрадь нет.

Он поднял портфель и ушёл наверх, не объясняя больше ничего, и Иван сидел и смотрел на чёрную обложку, и понимал, что особист, который обязан писать на него доносы, только что дал ему инструмент для того, чего в доносах не напишешь.

Он открыл тетрадь. На первой странице написал два слова: «Имена. Помнить».

Ниже переписал строчку про Гущина.

Потом открыл первую папку.

Он работал всю ночь и не заметил, как она прошла.

Это было не чтение. Обычный офицер Генштаба разбирал бы эти бумаги неделю: сводил донесения, отсеивал дубли, проверял время, ругался с разнобоем в нумерации частей. Иван не сводил — он видел. Каждая цифра сразу вставала на своё место в объёмной картине, как кусок мозаики, который сам знает, куда ему лечь. Донесение о расходе снарядов ложилось рядом с донесением о подвозе, и между ними обнаруживалась прореха. Прореха была не в бумагах — она была на Волге.

К трём часам ночи у него сложились три вещи.

Первая была про переправу. Шестьдесят вторая армия получала боеприпасы через Волгу, и получала их плохо: часть катеров и баркасов гибла под огнём, часть груза не доходила. Все считали потери в тоннах и в лодках. Иван пошёл иначе — в тоннах на час доставки. И увидел, что дело не в лодках. Дело было в расписании и в загрузке. Тяжёлое — снаряды, мины — грузили вперемешку с лёгким: патроны, гранаты, продовольствие. Рейс выходил длинным, потому что разгрузка на том берегу шла вручную, в очередь, и тяжёлое держало лёгкое. Лодки уходили в рейс не тогда, когда прикрывала артиллерия с левого берега, а тогда, когда освобождались грузчики. Полтора часа на рейс терялись просто так, каждую ночь, на каждой лодке.

Он разложил погрузку по типам, развёл рейсы по времени под прикрытием дымов и артиллерийского налёта, вывел новую пропускную способность. Получилось, что при том же количестве лодок и том же количестве людей шестьдесят вторая армия будет получать на треть больше боеприпасов. Не на треть больше потерь — на треть больше патронов в руках у тех, кто сидит в развалинах.

Он смотрел на цифру и думал о бойце у перевёрнутого вагона. Двадцать три процента. Двести метров. Это то же самое: не подвиг, не героизм, просто правильно переставленные вещи.

Вторая вещь была про немцев. Он выстроил ритм их наступлений — по датам, по расходу боеприпасов, по подводу, по тому, какие части заводили в первую линию. Ритм был виден, как кардиограмма. Немцы копили, били, выдыхались, снова копили. И по длине накопления он получил, когда они ударят в следующий раз. Вторая декада ноября. Он проверил тремя разными способами, потому что цена ошибки была слишком высока, и все три дали одно и то же с разбросом в двое суток.

Третья вещь была самая неприятная, и он долго не хотел её видеть.

Фланги. Севернее и южнее города стояли не немцы. Там стояли румыны — третья армия на северо-западе, четвёртая на юге. По всем сводкам они числились полноценными армиями, с дивизиями, с полосами обороны. Иван смотрел на их заявки на боеприпасы, на данные о конской тяге в обозах, на донесения о том, что у них нет противотанковых орудий нужного образца, — и видел не армию. Он видел декорацию. Эти части не могли держать удар танкового корпуса. Не потому что плохо воевали, а потому что им нечем было воевать: против нашей тридцатьчетвёрки в лоб нужно было орудие, а у румын стояли пушки, которые её не брали на дистанции боя.

И тогда он понял, что война здесь может кончиться не в городе.

Город стал приманкой. Немцы втянули в развалины свои лучшие дивизии, измотали их, поставили фланги на союзников, которых сами же не снабжали как следует. И если ударить не

в лоб, а туда, где декорация, — кольцо замкнётся не вокруг города, а вокруг всей немецкой группировки, которая в этом городе сидит.

Он отложил бумаги и опустил руки в ведро. Вода была уже тёплая.

Он сидел в расстёгнутой рубахе, в октябре, в яме без крыши, и от его плеч шёл пар, как от загнанной лошади.

Утром пришёл Ерёменко. Сам, без сопровождения, в шинели, накинутой поверх кителя, со Штейном за плечом. Он спустился в яму, посмотрел на открытый верх, на пар от плеч советника, и ничего не сказал.

— Ну?

Иван положил перед ним три листа. Он написал их за последний час, коротко, без вводных.

— Первое: переправа. Мы теряем полтора часа на рейс из-за порядка погрузки. Вот новый порядок. Он даёт шестьдесят второй армии плюс треть боеприпасов без единой дополнительной лодки. Проверяется за три ночи.

Ерёменко взял лист. Читал долго.

— Второе: немцы ударят во второй декаде ноября. Вот расчёт по трём независимым признакам. Если хотите проверить — сравните с тем, что даёт разведка. Если разведка даёт другое, я ошибся, и вы меня расстреляете.

— А третье? — Ерёменко кивнул на последний лист.

— Третье вам не понравится.

— Говори.

— Румынские армии на флангах не боеспособны против танков. Не плохо боеспособны — не боеспособны вообще. У них нет орудий, которые берут нашу тридцатьчетвёрку в лоб на дистанции боя. Если мы сосредоточим резервы скрытно и ударим по этим флангам одновременно с двух сторон, мы возьмём в кольцо всю группировку, которая сидит в городе. Не выдавим её. Возьмём.

Ерёменко молчал.

— Я про это в начале октября Сталину докладывал, — сказал он наконец. — Не тебе одному пришло.

Иван не удивился. Он и не рассчитывал, что придумал это первым — он вообще ничего не придумывал, он считал то, что уже лежало на столе.

— Я знаю, что думают, — сказал он. — Я не знаю, как думают. Я знаю, когда можно ударить. И я считаю, что можно раньше, чем планируется.

— Насколько раньше?

— Дней на пять. Может, больше. Надо смотреть сосредоточение, я его отсюда не вижу.

Ерёменко поднял голову.

— Ты понимаешь, что ты предлагаешь? План согласован. Сроки согласованы. Люди, которых ты хочешь сдвинуть на пять дней, — это сотни тысяч человек и тысячи эшелонов. Ты хочешь, чтобы я пошёл в Ставку и сказал: тут мальчик посчитал, давайте всё передвинем.

— Нет, — сказал Иван. — Я хочу, чтобы вы проверили первое. Переправу. Три ночи. Если я прав насчёт лодок — вы поверите мне насчёт румын. Если я ошибся насчёт лодок — я уеду, и вы ничего не потеряете.

Ерёменко смотрел на него долго. Потом сложил листы вчетверо и сунул в планшет.

— Три ночи, — сказал он. — Хрущёв будет против, я его уговорю. А ты пока поезжай в город. Раз ты собираешься считать шестьдесят вторую армию, надо посмотреть, что ты считаешь. Чуйкову я позвоню. Но предупреждаю: он тебя не любит заранее. Он всех москвичей не любит заранее.

— Он прав, — сказал Иван.

До переправы его везли полдня, и всю дорогу он считал колеи, воронки и подводы.

Переправа была ночью.

Катер был маленький, бронированный, из Волжской флотилии, с пулемётом на палубе, и командир его был мальчишка лет двадцати двух с обожжёнными бровями. Он посмотрел на предписание Ивана, потом на Ивана, потом снова на предписание.

— Советник? — переспросил он. — Ну садись. Только не вставай, когда пойдёт освещение.

Мимо них, вниз по течению, прошёл другой бронекатер — низкий, серый, с приосадистой башней. Командир кивнул на него.

— Тринадцатый идёт. У них расчёт лучший на флотилии, немцы его знают по имени.

Волга была чёрная и широкая, и на ней горела нефть.

Иван читал об этом в сводках, но сводки не передавали главного: река горела не вся, а полосами, и полосы двигались. Нефть текла с разбитых нефтебаков выше по течению, растекалась по воде и вспыхивала от трассеров, и получалось, что по чёрной воде плывут длинные рыжие ленты, извиваются, разрываются, соединяются снова. Свет от них шёл снизу, и лица людей на катере были освещены снизу, как в театре, и от этого казались чужими.

Пахло гарью и мазутом. Вода была тёплая там, где горела.

— Не смотри на огонь, — сказал командир, не оборачиваясь. — Смотри на берег. На огонь насмотришься — голову потеряешь.

Иван смотрел на берег.

Берег был не берег, а стена. Обломки стен, торчащие трубы, чёрные провалы окон, и всё это подсвечено изнутри рыжим, потому что там, за стеной, продолжал гореть город. Ни одного целого дома. Ни одного огня в окне — только пожары.

Катер ткнулся в центральную пристань — точнее, в то, что от неё осталось: полузатопленную баржу и настил из досок. Разгружаться надо было быстро.

Иван пошёл по настилу и считал.

Он считал доски, потому что иначе начал бы считать другое. Настил был в две доски шириной, доски скользкие от мазута, и по нему в обе стороны шли люди. Туда — с ящиками. Обратно — с носилками. И на середине настила, там, где он сужался до одной доски, встречные расходились боком, и каждый раз это занимало четыре секунды, и каждый раз ящик или носилки задерживались на четыре секунды.

Он свёл поток. Получилось, что за ночь на этом пятачке теряется больше часа.

«Развести, — подумал он. — Туда по одному настилу, обратно по другому. Двести досок. Один плотник за сутки».

Он записал это в блокнот, стоя под стеной, пока мимо несли носилки, и рука у него не дрожала, а внутри было так, что он потом не мог вспомнить, как дошёл до оврага.

До командного пункта армии было полтора километра по улицам, которых больше не было.

Их повёл сержант — немолодой, с автоматом и с лицом человека, который водит здесь людей каждый день и уже не считает, скольких не доводил. Он шёл быстро, не оглядываясь, и говорил через плечо коротко: тут не бежать, тут пригнуться, тут вообще не ходить, обойти справа.

Иван шёл и смотрел.

Он видел дом, разрезанный снарядом пополам, и в разрезе, на третьем этаже, стояла ванна. Обычная, белая, чугунная, на четырёх ногах, и в ней лежала кирпичная крошка. Кто-то в этой ванне мылся. Кто-то ставил в неё ребёнка. Теперь она стояла на краю обрыва, которого не было, и держалась на двух балках, и Иван вывел, что упадёт она через одиннадцать дней, если не будет морозов, и через шесть, если будут.

Он не мог перестать считать. Он считал всё: сколько шагов до укрытия, сколько секунд летит мина с той дистанции, сколько человек проходило по этой улице в сутки и сколько не доходило.

На втором перекрёстке сержант остановился и сказал, не оборачиваясь:

— Дальше по улице нельзя. Пойдём низом.

— Низом — это как?

— Это под землёй, — сказал сержант. — Тут подвалы соединены. Пробиты. Мы их пробили сами, ещё в сентябре, чтобы по улице не ходить.

Он отодвинул лист железа, и под ним оказался лаз в подвал, и в лазе стояла лестница из трёх кирпичей и доски.

Иван спустился.

В подвале было темно и пахло сыростью, кирпичной пылью и людьми. Кто-то зажёг коптилку, и Иван увидел длинное помещение с пробитым в дальнем конце проходом, и в проходе — ещё подвал, и ещё, и ещё.

— Кто это придумал? — спросил он.

— Я, — сказал сержант. — Мухин. Пётр Иванович, сапёр. Я до войны в Ростове канализацию чинил, я знаю, как под землёй ходить, чтоб не завалило.

Он шёл впереди, подсвечивая себе под ноги, и на ходу показывал рукой: тут стойка, тут не трогать, тут перекрытие слабое, идти по одному.

— Немцы про это знают? — спросил Иван.

— Знают, что подвалы есть. Не знают, что соединены. — Мухин остановился у прохода и постучал по стойке. — Вот тут они в прошлый раз заминировали. Думали, мы через этот проход ходим. А мы через соседний ходим, я его на день раньше пробил. Они этот взорвали, потолок осел, я потом два дня отгребал.

— Вы нарочно им подсунули проход?

— Нарочно, — сказал Мухин спокойно. — У меня людей мало, а земли много. Я не могу каждый подвал держать. Я могу им показать тот, который мне не нужен.

Иван разложил это на цифры.

Улица на поверхности — сто двадцать метров открытого простреливаемого пространства, потери при переходе около двух процентов на человека за проход, при сорока проходах в сутки — почти один человек в сутки. Подвалы — те же сто двадцать метров, но потери нулевые, если немцы не знают маршрута, и стоимость — сорок человеко-часов на пробивку и две смены на поддержание стоек.

Сорок человеко-часов против одного человека в сутки. За месяц — двадцать четыре человека за сорок часов работы.

— Вы это считали? — спросил Иван.

— Я не считаю, — сказал Мухин. — Я знаю, что по улице ходить нельзя, а под землёй можно. Мне считать не надо, мне копать надо.

— Двадцать четыре человека в месяц, — сказал Иван. — За сорок часов вашей работы.

Мухин остановился.

Он повернулся, и в свете коптилки было видно, что лицо у него изменилось — не удивилось, а как-то собралось.

— Двадцать четыре? — переспросил он.

— Примерно. Я вывел по проходам и по простреливаемости.

— Я думал, меньше, — сказал Мухин. — Я думал, пять-шесть. Я потому и не упирался, когда мне говорили, что сапёры нужны на другом участке. Я думал, я тут удобство делаю, а не людей спасаю.

Он помолчал.

— Ты это запиши куда-нибудь, — сказал он. — Не для меня. Для тех, кто наверху решает. Пусть они знают, что сорок часов — это двадцать четыре человека. А то они думают, что сапёр — это тот, кто мины ставит.

# Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.